

**СЕРГЕЙ  
ЦВЕТКОВ**

**КАРЛИК  
ПЕТРА ВЕЛИКОГО  
И ДРУГИЕ..**



СОДЕРЖИТ  
НЕЦЕНЗУРНУЮ  
БРАНЬ

18+

Сергей Цветков

**Карлик Петра Великого и другие**

«ЛитРес: Самиздат»

2021

## **Цветков С. Э.**

Карлик Петра Великого и другие / С. Э. Цветков — «ЛитРес: Самиздат», 2021

Исторические мистификации — жанр старинный и весьма почтенный. Им увлекались в разное время Уолтер Патер, Павел Муратов, Владислав Ходасевич, Хорхе Луис Борхес. Конечно, по большому счёту, мистификацией является любой исторический рассказ. Но иногда для полноты художественного впечатления писателю важно добиться иллюзии абсолютной документальности своего повествования. Это — не обман, не вождение читателя за нос, это — игра, которая, собственно, и является сущностью искусства. В каждой из новелл сборника воспроизведены либо реально существовавшие исторические персонажи, либо подлинные события, имевшие место в прошлом. Историческая ткань повествования полностью достоверна, хотя сюжетные повороты зачастую таковы, что кому-то может показаться, что он читает историческую фантастику. Читателю предстоит самому решить, что является правдой, а что вымыслом, и где проходит тонкая грань, отделяющая одно от другого. Содержит нецензурную брань.

## Содержание

От автора	5
Повесть о короле Родриго	6
Карлик Петра Великого	10
Подьячий Василий Курбатов	18
Конец ознакомительного фрагмента.	34

# Сергей Цветков

## Карлик Петра Великого и другие

### От автора

Собирая исторический материал для «толстых» книг, неизбежно сталкиваешься с сюжетами, которые производят наиболее сильное впечатление в «сжатом» виде, то есть в качестве исторических миниатюр. Как-то лет 20 назад я, тогда ещё молодой историк, прочитал об одном немецком профессоре-филологе, который доказал «несолнечное» происхождение культа Аполлона и умер при довольно странных обстоятельствах, весьма напоминающих мезьт рассерженного божества. Мне захотелось воспроизвести эту историю в художественном виде, связав разрозненные исторические факты в судьбу. Получилась небольшая новелла «Аполлон разоблаченный».

С тех пор время от времени я обращаюсь к жанру исторической миниатюры, который очень люблю.

За многие годы у меня скопился целый ворох исторических очерков и рассказов.

Большая их часть представляет собой исторические мистификации – жанр старинный и весьма почтенный. Им увлекались в разное время Уолтер Патер, Павел Муратов, Владислав Ходасевич, Хорхе Луис Борхес.

Конечно, по большому счёту мистификацией является любой исторический рассказ. Но иногда для полноты художественного впечатления писателю важно добиться иллюзии абсолютной документальности своего повествования. Это – не обман, не вождение читателя за нос, это – игра, которая, собственно, и является сущностью искусства.

В каждой из таких новелл воспроизведены либо реально существовавшие исторические персонажи, либо подлинные события, имевшие место в прошлом. Историческая ткань повествования полностью достоверна, хотя сюжетные повороты зачастую таковы, что кому-то может показаться, что он читает историческую фантастику. Читателю предстоит самому решить, что является правдой, а что вымыслом, и где проходит тонкая грань, отделяющая одно от другого.

## Повесть о короле Родриго

Спустя полвека после смерти Мухаммеда<sup>1</sup> арабское войско, посланное халифом возвестить слово пророка народам, живущим к западу от Дамаска<sup>2</sup>, завоевало Мавританию и вышло к Атлантическому океану. Взрывая копытами тонконогих аравийских коней прибрежный песок, белый, как морская соль, всадники гарцевали на берегу, вглядываясь в голубовато-белесую даль – туда, где, по словам местных рыбаков, находилась Испания, могущественное королевство готов<sup>3</sup>.

До сих пор ни одно царство не устояло против сынов истины, и казалось, близок к концу великий джихад – священная война мусульман против иноверцев. Но разве есть под солнцем что-нибудь великое, что не было бы малым перед очами Всевышнего? Чем может гордиться человек перед могуществом дел Его? Самое большое царство – лишь родимое пятнышко на лице земли, и не длиннее одной человеческой жизни великий джихад.

Думая об этом, старый асхаб<sup>4</sup>, предводитель войска, все больше омрачался лицом. Прохладный бриз вздувал складки его бурнуса, конь под ним нетерпеливо позвякивал уздечкой; за его спиной воины гадали, зачем Господь положил предел победоносному бегу их коней, а он все смотрел на море, словно ожидая, что волны расступятся перед ним, как некогда перед пророком Мусой<sup>5</sup>.

Наконец он тронул поводья и, заведя коня по горло в воду, воздел руки:

– Господи, будь свидетель, что я не могу идти дальше, но если бы море не помешало, то я бы не остановился до тех пор, пока не заставил все народы земли признать Твои заповеди!

Испания виделась арабам благодатной землей, где по берегам полноводных рек стоят богатые города, окруженные тенистыми кущами гранатовых, оливковых, лимонных рощ. И отделяли ее от Африки всего каких-нибудь пятнадцать миль! Но даже когда у арабов появился флот, переправиться на полуостров им мешала неприступная крепость Тарифа. Древние стены ее высились на горе, в том месте, которое многие христиане по привычке называли Геркулесовыми столпами, а арабы – Джебель ат-Тариф, то есть «горой Тарифа» (в европейском произношении это сочетание превратилось в Гибралтар).

В начале VIII столетия сеньором Тарифы был граф Хулиан, принадлежавший к старинному знатному роду. Хулиан был уже стар, но по-прежнему горд и никому не прощал обид. Будучи полным господином в своих владениях, он правил независимо и сурово. Его тело было испещрено шрамами и рубцами, слава и заслуги его были известны всему королевству, однако случилось так, что среди людей имя «Хулиан» стало означать «предатель».

Королем Испании в то время был Родриго, правитель храбрый и благочестивый, но укушенный страстями. Имея властолюбивый нрав, он не терпел противодействия ни в государственных делах, ни в личных прихотях. Но если в первом случае ему приходилось иногда сдерживать себя, то во втором он проявлял полную необузданность.

Однажды, проезжая со свитой по владениям графа Хулиана, король остановился в его родовой усадьбе. Гостей встретила прекрасная Ла Кава, дочь графа. Юная красавица жила уединенно, окруженная девушками-наперсницами и немногочисленной челядью. Хулиан, тревожась за ее честь, считал необходимым держать ее подальше от людских взоров. Но звуки

---

<sup>1</sup> Основатель религии ислама Мухаммед умер в 632 году.

<sup>2</sup> Дамаск был столицей халифов из династии Омсйядов (661–750).

<sup>3</sup> Так называемое королевство вестготов в Испании существовало с V в. и было завоевано арабами в 711–718 гг.

<sup>4</sup> Асхаб (араб. – сподвижник) – любой мусульманин, который общался с Мухаммедом или просто видел его. Асхабы составляли костяк арабской армии.

<sup>5</sup> Муса – упоминаемый в Коране как пророк и посланник Аллаха, библейский Моисей.

королевского рога открывают любые ворота. Родриго был очарован свежим благоуханием, исходящим от расцветающей красоты молодой затворницы. Он провел вечер в приятной беседе с ней и лег спать с хорошо знакомым томлением в груди.

Наутро, проснувшись ранее обычного, король отправился побродить по саду в ожидании завтрака. Все вокруг было объято негой этого утреннего часа. В густой прохладной траве еще кое-где горели крупными алмазными звездами капли росы; темная зелень деревьев была пропитана солнечным светом, который струился вниз, на землю, переливаясь световыми пятнами в листве, охваченной блаженной дрожью от едва заметного дуновения ветерка. Где-то наверху, в ветвях, невидимые для глаз, с ленивой оттяжкой звонко перешелкивались проснувшиеся птицы, наполняя сад мелодичным хаосом своих трелей. А еще выше какой-то невозможной, неправдоподобной голубизной сияло небо, наполняя душу нестерпимым восторгом жизни. Сейчас, в этом саду, счастье казалось таким полным, что Родриго почти забыл свою вчерашнюю влюбленность.

И вдруг он увидел, как из дверей боковой башни усадьбы выходит Ла Кава вместе со своими девушками. Весело переговариваясь и смеясь, они направились к тенистой лужайке в глубине сада. Родриго, не слишком таясь, последовал за ними. Под сенью пышных миртов и виноградной листвы девушки поставили на землю для Ла Кавы низкую скамеечку с бархатной подушкой, а сами расположились вокруг нее, расстелив на траве небольшие коврики. От внимания Ла Кавы не укрылось то, что за ней наблюдают, и девичье лукавство толкнуло ее на маленькую шалость. Она велела одной из девушек выплести ленту из косы и обмерить ею всем стопы. Девушки с живостью приняли участие в этом опасном для самолюбия соревновании. Задрвав юбки и сбросив на землю туфельки, они, в ожидании своей очереди, нетерпеливо потрясали в воздухе очаровательными ножками-стрелками, туго обтянутыми белыми, розовыми, голубыми чулками. Последней дала себя обмерить Ла Кава, и оказалось, что столь миловидной и изящной ножки нет ни у кого. Ла Кава бросила торжествующий взгляд в ту сторону, где, укрывшись за деревьями, стоял Родриго, и крикнула, указывая на него:

– А вон и судья нашего состязания!

Увидев короля, девушки вскочили и, схватив коврики, с визгом и смехом побежали к усадьбе. Вместе с ними скрылась и Ла Кава. А Родриго остался стоять у дерева, охваченный столь сильным желанием, что с трудом переводил дыхание. Сад по-прежнему дышал дивным умиротворением, но король чувствовал себя Адамом, изгнанным из рая.

День показался ему бесконечным, он едва дождался вечера. Тогда, призвав Ла Каву в свои покои, король сказал:

– Сегодня жизнь постыла мне, прекрасная Ла Кава, столь сильна моя любовь к тебе! Если ты мне дашь спасение, то я ничего не пожалею для тебя. Если нужно, я готов принести корону на твой алтарь.

Говорят, Ла Кава сердилась и ничего не отвечала королю на его уговоры, и тогда Родриго, забыв обо всем, силой обрел то, о чем сначала просил столь смиренно.

Опомнившись, Родриго стал раскаиваться в содеянном. Но что раскаяние! Нести кару за безумную страсть короля пришлось всей Испании. Божий суд над ним свершился скоро, а людской не окончен до сих пор. Кто виноват в постигших страну бедах? Люди судят по-разному: женщины во всем винят Родриго, а мужчины – Ла Каву.

Ла Кава была безутешна. В жестокой печали она послала письмо отцу с известием о нанесенном ей бесчестье. Граф Хулиан, читая эти горькие строки, рвал на себе седые волосы и клял судьбу, что с таким холодным безразличием карает величие и благородство. В диком исступлении бросал он страшные кощунства Небу – свидетелю его позора, забывшему о милосердии и защите, и сетовал на свою старческую немощь, мешающую ему отомстить нечестивцу. Когда же он выплакал все слезы и холодная злоба прояснила его разум, он сказал себе: «О, наш безрассудный король! Ты оскорбил мой старинный род; ослепленный страстью, надругался над

красотой моей дочери и моей честью, не предвидя за это расплаты. Но даст Бог, я отплачу тебе, не взыщи. К высшему правосудию взываю я. Если сам король бесчестен, что взять с подданных? Слава Небу! За неистовства владыки заплатят невинные. Великий позор ждет страну, вся Испания должна превратиться в руины – только так могу я насытить свое сердце мщением. Видит Бог, если бы я мог, я бы не стал губить столько жизней, а отомстил одному моему обидчику. Но иной жребий выпал мне. Небо, Небо! Только ты все взвесишь и всем воздашь за могилой. Так взгляни на горе старца, пожалей и помилуй его».

Хулиан призвал арабов на родную Испанию, пообещав им открыть ворота Тарифы. И скоро тридцать тысяч гази<sup>6</sup> во главе с полководцем Мусой высадились на испанском берегу. Хулиан сдержал обещание. Тарифа пала. Руины, кровь и пепел остались на месте грозной крепости.

Мусу не страшила ни сила кафиров<sup>7</sup>, ни огромные размеры их страны. Он был готов немедленно идти в глубь Испании, но граф Хулиан посоветовал ему дождаться войска Родриго на равнине возле города Херес-де-ла-Фронтера, где арабская конница получала преимущество над готами, чью главную силу составляла пехота.

Родриго прибыл на битву с отборным войском и искуснейшими полководцами. Семь дней подряд противники с утра сходились в беспощадной схватке, а к вечеру ни с чем возвращались каждый в свой лагерь. К исходу седьмого дня и тех и других одолели сомнения, и воины больше не верили в победу. Тогда Муса сказал своим гази:

– Всемогущ и милосерден Господь в славе девяноста девяти прекрасных имен своих. Я молился Всевышнему, и Он услышал меня. Он сокрушил ребра врагов и сделал сердца их как воск; жилища их, имущество их, жен и дочерей их отдал Он в руки правоверных. Мученикам же, павшим в битвах и похороненным без омовения и молитвы, Он открыл двери джанната<sup>8</sup>, обители мира, садов вечности. И нет участи слаще и завиднее этой! Под престолом Господа возлежат они в богатых одеждах на ложах расшитых, в благодатном саду, где текут реки из молока, вкус которого не меняется, и реки из вина, приятного на вкус, и реки из меду очищенного. И прислуживают им мальчишки вечно юные, и ласкают их жены черноокие, большеглазые, подобные жемчугу хранимому, которых не коснулся от века ни человек, ни джинн.

Родриго же нечего было сказать воинам, потому что каждый знал о бесчестье, нанесенном им графу Хулиану. И король, видя бедствия, которые он навлек на Испанию, искал уже не победы, а смерти. Поэтому, когда на следующий день сражение возобновилось, готы не выдержали натиска. Их знамена были повержены, и лагерь захвачен. Великое множество христиан покрыло своими телами равнину. На поле боя был пойман и любимый конь короля без седока. Родриго сочли убитым, и никто не пожалел о нем.

Здесь историк должен отложить перо в сторону – хронисты умалчивают о дальнейшей судьбе злосчастливого короля. Народные же романсы говорят следующее.

Весь день Родриго неистово бился с врагами в самой гуще схватки. Его доспехи были забрызганы вражеской кровью, меч зазубрился, шлем от многих ударов лопнул, и забрало, согнувшись, вонзилось в лобную кость. Но смерть бежала от него, как он ни преследовал ее. Наконец, сбитый с коня, он кое-как выбрался из толпы сражающихся и взобрался на холм. Здесь усталость, голод и жажда совсем сломили его. Родриго присел на камень и окинул равнину взглядом, полным печали. Еще никогда ему не приходилось видеть такого кровопролития. Трупы его воинов лежали, как снопы на хорошо сжатом поле, их телами были запружены ручьи, – уцелел едва ли один из десяти. Королевские знамена – олицетворение добытой веками

---

<sup>6</sup> Гази – участник джихада.

<sup>7</sup> Кафир – «неверный», немусульманин.

<sup>8</sup> Джаннат (множ. число от араб. «джанна») – рай по верованиям мусульман; в переводе это слово значит «сады».

славы – были постыдно втоптаны в грязь самими бегущими. «О, моя Испания!.. Погибла!» – прошептал король и содрогнулся от мысли, что он сам сотворил все это.

Родриго поймал чужого коня, бродившего поблизости, и, отпустив поводья, поехал, не разбирая дороги, убитый горем. Весть о его гибели и о поражении войска уже разнеслась по окрестностям. На распутьях король видел толпы крестьян и пастухов, спешащих укрыться за укреплениями городов. Все они, рыдая, молили Бога о спасении христиан и громко проклинали Родриго и Хулиана. Король, опустив голову, спешил проехать мимо, не смея даже попросить этих людей молиться за него.

Томимый глухой тоской, он ехал вперед без всякой цели, углубляясь все дальше в неприступные горы. Тучи клубились в мрачных ущельях, крутая тропинка терялась среди камней, и скоро конь и всадник совсем выбились из сил. К счастью, впереди показалась лужайка, на которой Родриго увидел две дюжины овец и старого пастуха. «Вот и все, что осталось мне от моего королевства», – подумал Родриго и, подъехав к пастуху, молвил:

– Сегодня король погубил страну. Спасайся, старик, и помоги мне в моей беде, укажи путь к жилью.

– Эти горы пустынные, – ответил старик. – Здесь нет ни замка, ни дома, один только бедный скит стоит высоко в горах. Там живет столетний отшельник, святой человек...

«Спасибо, Господи, ты вразумляешь меня. Там закончу свой грешный век», – подумал Родриго.

– Нет ли у тебя чем подкрепить мои силы? – вслух сказал он.

Пастух развязал котомку и вынул краюху хлеба и кусок мяса – все, что, имел. Он разделил их пополам и половину протянул королю. Родриго с жадностью набросился на еду. Но мясо было столь жилистым, а хлеб так темен и сух, что король, вспомнив былые пиры, не смог удержаться от рыданий... Выронив пищу из рук, он снял с себя цепочку и перстень и протянул пастуху:

– Возьми от меня в подарок эти вещи и покажи мне дорогу в скит.

С этими словами Родриго снова вскочил в седло.

– Ты хороший человек и платишь как король, – сказал удивленный пастух. Он рассказал, как проехать в скит, и простился с Родриго.

Бывший король поехал дальше. Быстро темнело, конь спотыкался на каждом шагу и испуганно храпел. Родриго пришлось отпустить его и продолжить путь пешком. Солнце совсем скатилось за тучи, и последний отблеск погас в небе, когда он увидел на одном из уступов пещеру в скале. По вкопанному перед входом деревянному кресту Родриго понял, что достиг цели.

Он кликнул отшельника, но никто не отозвался. Родриго вырвал пук мха между камнями, высек огонь и вошел в пещеру – она оказалась пустой. В одном углу лежала охапка истлевшей соломы; перед ней стояла лампада, в которой давно высохло масло. В другом ужасной чернотой зияла открытая могила. Посветив в нее, Родриго увидел остов отшельника и на нем почерневшее серебряное распятие. Каменная плита была слегка надвинута на могилу, – видно, у отшельника не хватило сил накрыться ею.

Горько зарыдал Родриго, видя, что некому исповедать его и отпустить грехи. Опустившись на колени, он молился всю ночь, а с первым лучом солнца лег в могилу рядом со старцем и накрылся плитой.

И в тот же день над испанской землей поплыл колокольный звон: Господь принял душу покаявшегося.

## Карлик Петра Великого

### I

Деда своего Роман Денисович помнил хорошо, но где берет начало род Елененых, доподлинно не знал. В летописях и старинных грамотах фамилия эта не упоминалась, а каких-либо преданий на сей счет никто в семье не хранил. Во всяком случае, не были Еленены в прошлом ни стольниками, ни воеводами, ни мужами именитыми, и ни о ком из них в Разрядных книгах не писалось с осуждением, что-де в горячем споре о местах с боярином князем таким-то учинил непотребное буйство перед лицом государевым и нанес великую обиду означенному боярину.

Но хотя не стоял у истоков рода Елененых ни славный Рюрик, ни царь Трапезундский, фамилия эта была, по всему вероятно, старинная, в чем Роман Денисович нимало не сомневался. Подобно предкам своим, послушно тянул он служилую лямку, из года в год уходя с пятком вооруженных холопов посторожить южные украины Московского государства, за что при царе Алексее Михайловиче получил в новгородских землях небольшое поместье – имение Устье с полусотней крестьянских дворов; там и осел, чтобы умеренным кормом пополнить оскудевшие от походов животы.

К своим сорока пяти годам Роман Денисович был уже вдов, но телом крепок, нравом тих и богобоязнен, прилежно ходил в церковь, строго соблюдал посты, своих людей содержал в страхе Божиим, зорко следил за хозяйством. Насколько мог он судить по деду и батюшке, Елененым вообще свойственно было долголетие, а потому надеялся Роман Денисович и свой век изжить не скоро.

Только с судьбой не разминешься.

Однажды, ранней зимой, охотился он на кабана вместе с двумя дворовыми людьми. Взятый след привел их к густому запорошенному ельнику, в котором Роману Денисовичу почудилось движение. Кивком головы и глазами он показал слугам, чтобы те заходили по краям и, ухватив покрепче рогатину, наострил лыжи к лесу. Но вместо кабана навстречу ему из-под еловых лап, взрывая снежный прах, вылетела исчернабурая, переливающаяся, как студень, туша с разверстой плотьядно-розовой пастью, извергающей вместе с клубами пара гулкой нутряной рев. В три прыжка огромный шатун оказался рядом с охотником, подмял его под себя и начал грызть голову... От немедленной смерти Романа Денисовича спас лисий малахай, не позволивший медведю расщелкать Елененскую голову, как орех; но, когда подоспевшие холопы, в упор разрядив в зверя все имевшиеся самопалы и пистолы, высвободили хозяина из-под обмякшей туши, он уже едва дышал.

Бережно подсунув лыжи под переломанное, истекающее кровью тело Романа Денисовича, слуги доставили его домой. Положенный в сених, он впал в полузабытье. Послали за священником. Отец Мелентий по прозвищу Двупалый прибыл тотчас. По скрипучим ступеням поднялся он в сени и прошел к раненому, по пути осеняя домашних Романа Денисовича изувеченной десницей, на которой, как, впрочем, и на другой руке, было только два пальца: средний и указательный. То был памятный знак давнего богословского спора со стрельцами-староверами, проходившими через Устье во время большой рати с польским королем Яном Казимиром. Побежденные доводами отца Мелентия в пользу троеперстия, они в ярости отрубили ему по три пальца на обеих руках и ушли, гогоча и выкрикивая, что теперь поп-никонианин при всяком крестном знамении будет исповедовать истинную отеческую веру. После этого случая в епархии поднялся было шум, кое-кто заговорил, что следует извергнуть отца Мелентия из сана, дабы вид его двуперстной длани не вводил в соблазн и смущение паству, но новгородский

владыка положил конец пересудам, оставив его на приходе и пожаловав наградным крестом изумительной работы.

Сын Еленена нес службу в новгородском гарнизоне, дочери его были давно замужем за окрестными помещиками. Поэтому из близких у ложа Романа Денисовича встали только двое – дворовая девка Марфуша, с которой Еленен жил после смерти жены, и карлик-малолетка по имени Яков – плод их греховного союза. Они-то и приняли последний вздох умирающего, облачком слетевший с его застывших уст. «Вот и дух его отлетел, аки дымец малый», – печально заметил отец Мелентий. А может, просто в снях плохо натоплено было.

После смерти Еленена-старшего Устье временно перешло под надзор управляющего. Марфуше и ее сыну позволили жить, как и прежде, на господском дворе.

Особинка Якова открылась не сразу. Лет до восьми был он вровень с другими ребятками, его сверстниками, вместе с ними играл в лапту, в свайку, в салки, водил лошадей в ночное, в одной ватаге ходил на соседских, нигде и ни в чем не был последним. А потом вдруг все другие мальчишки ушли в рост, а Яков словно заматерел в своем малолетстве и не возматерел с годами ни на вершок.

Как-то погожим сентябрьским днем по Заречному ехал мужик-яблочник с целым возом ядреной, наливной антоновки, покрытой рогожей. Позади него на возу, свесив ноги, сидел рыжий парень – не то сын мужика, не то работник – и с сочным треском обгладывал яблоко. Яков и еще несколько сельских ребят, скучавшие в это время на улице, с веселыми криками принялись кружить, как осы, вокруг движущейся яблочной горы, стараясь выхватить из-под рогожи спелый плод; при этом приходилось им увертываться то от мужицкого кнута, то от кулака сидевшего парня. Проворнее всех оказался Яков, который, улучив мгновение, внезапно вынырнул из-под телеги и выхватил яблоко из-под самого носа у рыжего, отбивавшего в тот момент ногой нападение с другой стороны. Тогда-то и прозвучало это роковое слово – «карла», сопровождаемое смачным плевком и брошенным вдогонку Якову огрызком. По тому, с какой злобой и презрением рыжий выкрикнул короткое незнакомое слово, Яков понял, что это не пустая брань. Обиднее всего было то, что все его товарищи со смехом подхватили: карла, карла! Насупившись, он несколько раз кидался на них с кулаками, но они, не вступая в драку и не переставая дразниться проклятым словом, весело бросались от него врассыпную. Наконец Яков плюнул на них и пошел домой. Только тогда он вспомнил о зажатом в кулаке яблоке. Но оно показалось кислым и невкусным. Надкусив его, он страдальчески сморщился и что было сил запустил свою постылую добычу в стоявшую неподалеку рябину, целясь в тонкий ствол. Не попал.

– Кто такой карла? – сердито спросил Яков дома.

Марфуша озабоченно посмотрела на него и растерянно захлопала глазами, подбирая слова.

– Ну... Известно, кто... Мужичок с ноготок, кому Бог росту не дал.

– И я уже никогда не вырасту?

Марфуша принялась, как могла, утешать сына. Каким уродился, таким и сгодился. Всяк хочет выглядеть лучше, чем он есть. Да и то сказать, разве можно гневить печалью Отца нашего небесного? Вон другие карлы – рождаются с горбом, со старушечьим лицом, едва ковыляют на своих кривых ножках, хоть сейчас в гроб ложись. А Якову грех жаловаться – пускай и мал молодец, а хорош собой, все в нем ладно, все соразмерно. Бог даст, и хорошую жену себе найдет. Тут Марфуша поглядела на него с лукавой улыбкой. И вообще, продолжала она, отчего бы и не быть карлой? Карлы – народ сокровенный, под землей золото роют. Вот бы и Яков нарыл немного – глядишь, и не горевал бы так.

– Но почему я такой уродился? – не унимался Яков.

Марфуша потерла рукою лоб, вспоминая что-то далекое. Что она может сказать? Тот год, когда Яков появился на свет, был какой-то дурной. Зимой было багровое знамение на небе –

ночами кровавая луна светила так, будто пожар во дворе. А летом ударили грозы, бури; град, словно снег, устилал землю по щиколотку. Один мужик еще сказывал, что ему во двор с неба упала кошка без ног – вилась по земле и орала, как резанная, а потом уползла змеей. Тогда по округе многие бабы уродов рожали, и скотина метала чудной приплод – коровы телились ягнятами, а свиньи поросились мышами.

– Неспроста все это было, а к чему – один Господь ведает, – вздохнула Марфуша и, позвав Якова к себе, обняла, примолвив, что любит его, как никого другого. Но это Яков и так знал.

С этого времени он сделался тих и раздумчив, стал дичиться деревенской ребятни и общих забав. Бывшие его товарищи и знакомцы скоро забыли о нем и перестали звать на свои игрища. Теперь Яков подолгу пропадал в лесу. Лесовать не лесовал; впрочем, иногда приносил домой поздние грибы, но чаще – всякую мелкую живность: ежей, птиц с перебитыми крыльями, отбитых у лисиц полузадушенных мышей. Правда, всех их приходилось в тот же день отпускать, потому что Марфуша решительно отказывалась дать им на прокорм хотя бы зернышко из скудных домашних припасов. Год выдался неурожайный, скотина мерла от болезней.

Марфуше не нравились долгие отлучки сына в лес, и порой она пыталась пострашать его – то диким зверем, то лешим, который уводит непослушных детей к себе, в непролазные чащи. На это Яков обыкновенно отвечал, что диких зверей не боится, потому что знает их язык, а леший – что ж, леший? – встречались они уже на одной дорожке, – ничего, пронесло. И, насладившись Марфушиным удивлением, рассказывал историю, вроде следующей.

Идет он, значит, по лесу и чует – заплутал. Тропка вьется петлями меж деревьев и кустов или совсем пропадает в густой траве. Вдруг из самой чащобы навстречу ему зайцы – видимо-невидимо, несутся гурьбой, давя друг друга. А за ними бредет дед, опираясь на палку. Дед как дед – только бровей и ресниц у него нет, и кафтан запахнут на правую сторону. Иногда гикнет глухим голосом, свистнет, хлопнет в ладоши – а зайцы его слушаются, бегут, куда укажет. Увидел он Якова, позвал к себе и спрашивает: мол, откуда, что в лесу делает? И говорит как-то чудно: вроде, слов нет, а все понятно. Яков рассказал ему про свою беду. «Хорошо, – говорит дед, – я помогу тебе выйти на свет Божий, только сначала в карты сыграем. Есть у тебя, что на кон поставить?» – «Нет ничего». – «Тогда сделаем так: я поставлю всех зайцев в лесу, а ты – себя и свою матушку». Ударили по рукам (в этом месте рассказа Якову приходилось уворачиваться от Марфушиного подзатыльника). Нашли старый пень, сели играть. И вот незадача – у Якова на руках все время одна мелочь, а дед знай ходит козырями. В общем, проигрался Яков вчистую. Дед встал, запахнул кафтан поплотнее и показал палкой: «Иди вон в ту сторону, там твой дом. И будьте готовы с матерью – ночью за вами приду».

Тут Марфуша, не выдержав, начинала со смехом гоняться за Яковым вокруг стола, стараясь достать его задницу скрученным полотенцем.

У Марфуши оставалась последняя надежда, что с наступлением Ерофеева дня эти прогулки прекратятся сами собою. На Ерофея добрые люди в чащу не ходят: в этот день леший с лесом расстается – перед тем, как до весны провалиться под землю, дурит, гулко ухает, хохочет, ломает с треском деревья, словно тростинки, валит их на лесные тропы, разгоняет зверей по норам, сдувает птиц с ветвей. Не дай Бог попасться ему в это время под руку – переломает все косточки не хуже медведя или утянет за собой в темное царство.

Но как ни страшала она сына, Яков только отмахивался да храбрился, что ему именно того и хочется – посмотреть, как леший будет проваливаться сквозь землю. И действительно, когда настал срок, он с нетерпением дождался, пока рассеется утренний туман, и, одевшись потеплее, выскользнул из дома.

В лесу было сумрачно и пусто. Облетевшие березняки и ольшаники сквозили на светлом холодном небе. Под ногами шуршала бурая, с охристой прожелтью, листва, из оврагов веяло пахучей сыростью.

После долгих бесцельных блужданий Яков вышел на бугристую поляну, обрамленную стеной темных елей. Внезапно сильный порыв ветра шумно всколыхнул их узорчатые макушки. Черный ворон описал полукруг и грузно сел на старую разросшуюся ель, тяжело качнув мохнатую ветку.

С верхушки пригорка на противоположной стороне поляны на Якова зло смотрела большая серая собака. Шерсть на ней вздыбилась; она хищно щерилась, обнажая клыки, и в глубине ее зрачков мерцал малиновый огонь, живо напомнивший Якову о варенье, которое так славно готовила Марфуша. В следующее мгновение его сковал ледяной ужас.

– А ну, прочь, ушастый! – раздался повелительный женский голос откуда-то из-за елей справа от Якова. – Именем владыки твоего, святого Егория, прочь пооди, говорю!

Толстая суковатая палка, перелетев через поляну, грянулась о землю возле волчьих ног. Зверь отпрянул и, поджав хвост, в два прыжка скрылся в чаще.

– Кто там, покажись! – крикнул Яков в ту сторону, откуда пришла помощь.

Еловые лапы раздвинулись, и на поляну вышла немолодая остроносая баба, в драной козьей телогрейке и с корзиной в руке; голова ее была замотана линялым цветастым платком. Она несколько раз взмахнула свободной рукой вслед убежавшему волку, что-то бормоча под нос, и обернулась к Якову.

Теперь Яков узнал ее. Это была Манка Козлиха. На селе она слыла ворожеей, жила где-то в лесу, одна. Яков несколько раз мельком видел, как ее приводили к больным или роженицам, но никогда прежде не разговаривал с ней.

– Ну, сказывай, что ты за богатырь? – спросила Манка, подойдя поближе.

Яков назвал себя, добавив, что он благородных кровей.

– А в лесу что делаешь?

– Клады ищу, – соврал Яков, вспомнив Марфушины рассказы о занятиях карлов.

– Не там ищешь! – рассмеялась Манка. – Все клады лежат в глубоких пещерах да гнилых болотах. Эти места без крепкой ворожбы не открыть. А лесные сокровища – вот они: грибы да ягоды, да травы целебные. – И она показала Якову свою корзину, наполовину заполненную опятами, поверх которых лежали сухие ветки дуба, кисти жарко-красной калины, листья брусники, чабрец, душица и какие-то коренья. Потом, посмотрев на верхушки елей, ходящие ходуном под порывами ветра, сказала, что сегодня не обойдется без бури, и предложила Якову зайти к ней домой, чтобы переждать непогоду. Здесь недалеко. Яков потер озябшие руки и принял приглашение.

Еще на подходе к Манкиному жилищу на плечи им пали редкие крупные капли. Вскоре дождь хлынул стеной, но они успели забежать в дом, не промокнув. Внутри было темно; несколько куриц шарахнулось от них по углам, сердито квохтая. Поставив корзину на пустой стол, Манка зажгла лучину и принялась растапливать полукруглую глиняную печь. Предоставленный самому себе Яков присел на лавку и стал осматриваться. Закоптелая курная изба с земляным полом выглядела неуютно. Маленькие оконца и дымники, устроенные под самой кровлей, едва пропускали свет. В красном углу смутно темнела икона. Стены были сплошь увешаны пучками сушеных трав, листьев, корешков – их тонкий аромат мешался с неизбывной печной вонью, пропитавшей все помещение.

Легкое пощелкивание дров и повалившийся из печи едкий сизый дым возвестили о том, что с растопкой покончено. Манка, морщась, кашлянула, потерла заслезившийся глаз и занялась Яковым.

– Вот, смотри, мои сокровища, – сказала она, указывая на заготовленное былье. – У каждого стебля, у каждого цветка своя сила. Выбирай, какая помощь тебе нужна – все исполнится, без обмана. Ты ищешь клады? Так вот папоротник, Иванов цветок, перед ним все клады открываются без утайки.

Яков отрицательно мотнул головой.

– Не хочешь? – продолжала Манка. – Тогда возьми другое зелье. – И она, прохаживаясь вдоль стен, начала показывать ему свои запасы. Была здесь плакун-трава, заставляющая нечистых духов с плачем покоряться ее обладателю; и разрыв-трава, сокрушающая любое железо, – ею откроешь самый крепкий замок и невредимый из темницы выйдешь; и трава галган, которая сушит раны; и трава колюка, хранимая в коровьем пузыре, – окуренное ею ружье никогда не промахнется; и трава прикрыш, охраняющая от свадебных наговоров; и одолен-трава – с нею легко преодолеть разные препятствия: и тяжбу выиграть, и сердцем девицы завладеть; и трава не чуй-ветер, дающая силу унять бурю на воде; и трава песий язык, отгоняющая собак; и кильная трава, избавляющая от злобы; и ятрышник, делающий бег лошади быстрым и неутомимым; и трава блекота – кто держит ее в руке, тот не боится никакой опасности; и много других трав, чье название и назначение Яков не запомнил. Но такой травы, чтоб прибавляла роста, в Манкиной аптеке не было.

– Ну, вижу, ты сам еще не знаешь, что тебе нужно, – сказала Манка, устав перечислять свой ведовской урожай. – Это потому, что судьба твоя от тебя сокрыта. Хочешь, открою, что тебя ждет?

Яков неуверенно кивнул в знак согласия.

Она деловито приступила к подготовке обряда. Выбрав какую-то траву, приготовила отвар и подала Якову: «Пей!» Пока он, обжигаясь, отхлебывал горьковатый напиток, Манка поставила перед собой на стол глубокую миску с чистой водой, осторожно выпустила туда свежее яйцо. Лицо ее посуровело, губы зашевелились, шепча ведомое одной ей заклятие. Яков понял, что она судьбу его видит, и замер. Вдруг перед глазами у него все поплыло, в ушах залег звенящий гул, сквозь который как будто бы доносились неясные голоса, обрывки фраз... Сколько времени продлилось это наваждение, он не знал. Когда же он очнулся от прикосновения Манкиной руки, в уме у него отчетливо звучали некие удивительные слова, вот только никак нельзя было понять, услышал ли он их из Манкиных уст или они были сказаны одним из голосов, сокрытых завесой звенящего шума.

Манка спросила, доволен ли он ее гаданием. Полусонный Яков безотчетно пробормотал «да», хотя и успел подумать, что сейчас знает о своем будущем ничуть не больше, чем перед началом ворожбы. Но расспрашивать Манку о том, что означает услышанное им предсказание, не стал, чуя, что ответа все равно не будет. Манка не спеша выпила из миски воду вместе с яйцом, подошла к окошку и сказала, что буря, кажется, утихла, и она проводит его до дома. Тут только Яков почувствовал, как пусто у него в животе.

Обратный путь он проделал, как в дурмане, не в силах отогнать охватившую его сонливость. Марфуша, увидев в сумерках из окна, как они с Манкой входят на двор, выбежала им навстречу. В ответ на ее тревожные расспросы Манка с важным видом заявила, что она ворожила на судьбу Марфушиного сыночка, что гадание было благоприятным и что Марфуша должна дать ей за это что-нибудь.

– Поди прочь, нет у меня ничего, – сказала Марфуша.

Они поругались немного, и Манка не солоно хлебавши побрела восвояси.

Марфуша накормила Якова и уложила спать. Все это время она нетерпеливо выспрашивала, что такого нагадала ему Манка. Яков неохотно отбредивался, что ничего не помнит. Когда мать наконец оставила его в покое, он сразу заснул, едва успев повторить про себя Манкины слова: «Будешь жить в палатах каменных, повидеешь свет, а после смерти нетленным пребудешь».

Посреди ночи он проснулся от ледяного холода и в тот же миг понял, что не чует ни рук, ни ног. От ужаса он хотел закричать, но грудь словно придавил тяжелый камень, не позволявший издать ни звука. «Я умер», – неожиданно дошло до него. Однако каким-то образом он продолжал видеть и слышать все, что происходило вокруг. Наутро на крики Марфуши сбегались люди. Бездыханное тело Якова сначала положили на лавку, потом обмыли и к вечеру

переложили в наспех сколоченный гробик. На другой день после службы прибыл отец Мелентий. Он велел поставить гроб на телегу и повез хоронить. На второй версте Яков очнулся, чем привел отца Мелентия в совершенный восторг. «С нами милость Господня! – восклицал он, чуть не отплясывая вокруг телеги. – Ведь едва тебя не сховал, но Всевышний не дал отпеть живую душу!»

Сочтя происшедшее истинным чудом, отец Мелентий подробно расспросил Якова и Марфушу об обстоятельствах этого дела. По итогам его расследования на стол новгородского митрополита легла бумага с обвинениями против злой колдуньи и еретички Манки Козлихи, которая наводит порчу на православных христиан и насылает мор на скот.

Арестованную Манку увезли в Новгород для розыска. Спустя некоторое время туда же затребовали и отца Мелентия с Яковом. Они выехали уже по первому снегу. В воеводском застенке с них сняли показания и велели не уезжать из города до конца следствия. Суд был скорым. В ближайший ярмарочный день Манку посадили в сруб, сооруженный на городской площади, и сожгли при большом стечении народа. В огонь бросили и все ее ведовские коренья и травы.

Яков наблюдал за казнью стоя позади толпы, предоставив отцу Мелентию одному протискиваться сквозь людскую толщу. Однако и с этого места ему были видны одни лишь колыхающиеся спины да черный дым, внезапно поваливший в пасмурное небо.

От скуки он принялся оглядывать заснеженную площадь и сразу же заметил стоящие поодаль расписные сани, запряженные шестерней, в которых сидел какой-то важный боярин. Тот тоже приметил его и, подзвав гайдука, что-то сказал ему, указывая в сторону Якова. У Якова екнуло сердце. Однако ничего страшного не произошло. Гайдук приблизился с самым добродушным видом и сказал, чтобы Яков немедленно подошел к саням, ибо боярин Кирилл Полуэктович Нарышкин желает с ним говорить.

Яков послушался и подбежал к роскошному экипажу.

– Знаешь, кто я? – спросил его Нарышкин.

Яков кивнул головой. Имя царева тестя было известно каждому.

Нарышкин сказал, что возвращается из своих вотчин в Москву и желает взять Якова с собой: «Будешь служить царевичу Петру Алексеевичу в потешных ребятках, а государь тебя за это пожалует. Ну и за мной не пропадет. Что скажешь, согласен?»

У Якова от восторженного ужаса перехватило дух. Он только попросил дать ему минутку, чтобы предупредить отца Мелентия, юркнул в гудевшую толпу и скоро вернулся.

– Теперь все, можем ехать.

– Тогда полезай ко мне в рукав, посмотрим, на что ты способен.

Яков нырнул в просторную медвежью шубу и устроился поудобнее в боярском рукаве. Так они и ехали до самой столицы. По слову Нарышкина Яков удивлял встречных путников: пугал их, внезапно выскакивая из рукава, или строил смешные рожицы. Гайдуки, следовавшие за санями, громко хохотали.

В Москве Якова придели, измерили – в нем оказалось аршин и два вершка росту. Бояре, заходившие к Нарышкину в гости, хвалили его приобретение: всем нравилось, что Яков не безобразен, как другие карлы, а соразмерно сложен.

Яков прожил в нарышкинском доме всю зиму и весну, забавляя гостей и самого хозяина. Однажды летом, на Петров день, его нарядили в ладно скроенный алый кафтанчик и приказали сопровождать пешком вызолоченную маленькую карету в четыре лошадки пигмейной породы. Вместе с ним в свиту поставили еще три карлика, одетых под стать Якову, а на запятках кареты встал маленький урод. Этот потешный экипаж предназначался в подарок на именины двухлетнему царевичу Петру.

Царевич стоял в окружении мамок, держа за руку мать, царицу Наталью Кирилловну Нарышкину. Его маленькое лицо с большими черными глазами было совершенно серьезно; он

молча смотрел на карету и посасывал палец. Яков, желая развеселить его, улыбнулся. Царевич отвернулся и заплакал. Наталья Кирилловна дала знак мамкам, чтобы дитя увели. Вечером Якова выпороли на конюшне за то, что досадил государю-царевичу.

## II

История Якова Еленена известна нам по его собственным воспоминаниям (они были обнаружены и изданы уже в XIX веке под названием «Записки карлы Петра Великого»). Читатель найдет в них еще много интересных сведений о потешной службе и придворном быте последних лет Московского царства. Что касается самого автора записок, то Петр, взрослея, полюбил его и приблизил к себе. Расположением юного царевича Еленен был обязан своему воинственному нраву, который он обнаружил во время сражений на Потешном дворе в Преображенском – небольшом пятачке перед дворцом, окруженном земляной насыпью и рвом. Каждый день можно было наблюдать, как Петр с сабелькой в руке становился перед насыпью во главе нескольких карликов и дворовых «робяток». Над маленьким войском развевалось тафтяное знамя с вышитыми на нем солнцем, месяцем и звездами. Еще одна группа потешных, засев за валом, готовилась отразить штурм. По знаку Петра его войско палило из потешных пистолей и, нестройно вопя, храбро лезло на вражеские укрепления. Еленен, выступавший обыкновенно в роли знаменосца, всегда одним из первых оказывался на вершине вала, чем несказанно радовал Петра. После первого стрелецкого бунта воинские потехи юного государя продолжились уже в деревянном городке, возведенном на Воробьевых горах, а затем в Пресбурге – настоящей крепости на берегу Яузы, построенной по всем правилам фортификации. Когда же Петр заинтересовался корабельным делом, то Еленен и тут оказался одним из немногих, кто искренне разделил новое цареву увлечение – он стоял вместе со «шкипером Петрусом» и у руля найденного в Измайловском английском бота<sup>9</sup>, на котором царь учился делать развороты и ходить против ветра, и на палубе красавца-фрегата, заложенного на Плещеевом озере.

Во время мятежа Софьиного фаворита Федора Шакловитого Еленен был тем «карлой», который, по сохранившимся сведениям, вместе с постельничим Гаврилой Головкиным привез платье Петру, скрывающемуся в подмосковном лесу. Как известно, царь, разбуженный посреди ночи известием о волнениях в Кремле, стреканул из преображенского дворца в одном исподнем. С этого времени Еленен пользовался неограниченным доверием Петра.

Елененские воспоминания были записаны (или продиктованы, что вернее), по всей видимости, вскоре после возвращения Петра из первого заграничного путешествия. Еленен сопровождал царя в его странствиях, но эта часть «Записок» наименее интересна – записки становятся отрывочными и повествуют большей частью о событиях и предметах, более подробно описанных другими современниками. Например, краткая заметка о посещении Петром анатомического кабинета Фредерика Рейса совсем не упоминает знаменитого поцелуя, подаренного царем забальзамированной четырехлетней девочке в роброне и золоченых туфельках, чья застывшая навеки улыбка поразила его своей одухотворенностью.

Записки Еленена обрываются на 1699 году. В заключительных строках он предается размышлениям о своей судьбе и, вспоминая полученное в отрочестве предсказание, задается вопросом, сбудется ли оно целиком. Ведь для того, чтобы тело после смерти сохранилось нетленным, нужна святость жития, а откуда ей взяться, недоумевает Еленен, если в церкви он теперь бывает реже, чем на заседаниях всешутейшего и всепьянейшего собора?

---

<sup>9</sup> Это судно принадлежало большому любителю заморских диковин – боярину Никите Ивановичу Романову, двоюродному брату царя Михаила Федоровича. (Здесь и далее прим. автора.)

Сегодня мы знаем, что некое подобие телесного бессмертия он все-таки получил. Зима 1699–1700 года в Москве прошла особенно весело. Петр словно пытался забыть недавние утраты – смерть дорогих его сердцу Лефорта и генерала Гордона. На Святках ряженая компания, человек до восьмидесяти, во главе с царем, посещала дома богатых бояр и купцов. Колядовали, выпрашивали угощение. Тех, кто давал мало, хватали и вливали в них бокала по три вина или одного «орла» – большой ковш: редкий скупец после этого наказания не падал замертво. Впрочем, и щедрых хозяев заставляли напиваться вусмерть. Так веселились несколько дней сряду. На Масленой Петр запустил фейерверк, изготовленный собственными руками. Три часа сыпали искрами над Кремлем ракеты, звезды, колеса, огненные картины. Одна пятифунтовая ракета не взорвалась и, упав на голову Еленену, пришибла его на месте. Петру сразу же пришла в голову мысль увековечить своего любимца при помощи искусства, усвоенного им из встреч с профессором Рейсом. Бальзамирование Елененского тела стало первым опытом Петра в этой области. Подлинного мастерства он достиг значительно позже, после того как Рейс, уступив настоятельным просьбам царя, в 1717 году продал ему свой анатомический кабинет вместе с секретом изготовления liquor balsamicus – легендарного бальзамирующего раствора, позволявшего добиваться поразительной сохранности препаратов. В случае же с Елененым для обработки тканей и органов был применен обычный винный спирт. Впоследствии миниатюрная мумия «карлы Петра Великого» стала одним из первых экспонатов петербургской Кунсткамеры. Однако уже в 1840-х годах она пришла в негодность, в связи с чем была изъята из коллекции.

## Подьячий Василий Курбатов

### I

Было знойное, душное лето 1680 года.

В Москве что ни день то там, то здесь начинались большие пожары, истреблявшие разом по несколько десятков дворов, церкви, монастыри... Кареты, телеги, всадники, проезжавшие по улицам, вздымали вместе с клубами пыли пепел, густым слоем лежавший на мостовых, – его легкие хлопья кружили в воздухе, точно серый снег... Царь Федор Алексеевич приказал, чтобы в городе не зажигали огня в черных избах.

В один из таких пожаров сгорела и изба подьячего посольского приказа Василия Курбатова, жившего в Китай-городе возле Вшивого рынка, неподалеку от посольского подворья. Курбатов и в другой раз не слишком бы огорчился этому – дело было обычное: скудное добришко свое он, как и большинство москвичей, хранил в яме, где ему был не страшен огонь, а возвести новую избу было делом одного дня – цены на строевой лес в Москве были баснословно низкие; теперь же он и вовсе не придал никакого значения приключившейся с ним беде, так как целыми днями пропадал в приказе, готовясь к отъезду в составе посольства князя Петра Ивановича Потемкина ко дворам испанского и французского королей.

Курбатов был немолод, сам себе считал тридцать пять годов, а на деле могло выйти и больше. Спросить было не у кого – он рано лишился родителей и был малолеткой привезен приходским священником из родной деревеньки под Ярославлем в Москву и отдан на обучение в Заиконоспасский монастырь. Его жена и маленькая дочь погибли во время морового поветрия, случившегося лет семь назад; с тех пор он жил вдовцом, иногда на месяц-другой сходясь с какой-нибудь из непотребных девок, что с бирюзовым колечком во рту приманивают на улицах мужиков на блуд. В посольство князя Потемкина его нарядили толмачом. Курбатов изрядно знал латынь (учился в латинской школе, открытой в Заиконоспасском монастыре Симеоном Полоцким) и порядком немецкий, поскольку по роду службы имел знакомцев в Кукуе<sup>10</sup>.

Предстоящее путешествие занимало все его мысли. Уезжать из Москвы ему было не жаль, хотя и немного боязно. В своем воображении он уже жил в тех далеких, притягательно-страшных городах, о которых его кукуйские знакомые рассказывали столько удивительного. Курбатову страстно хотелось увидеть и ученого амстердамского слона, который играл знаменем, трубил по-турски и палил из мушкета, и святой камень в городе Венеции, из которого Моисей воду источил, и хранящееся в тамошних церквях млеко Пресвятой Богородицы в склянице, и дивную зрительную трубу, в которую все звезды перечесть можно, и кельнский костел, где опочивают волхвы персидские, и бесстыжих жен заморских, выставяющих напоказ – прелесть бесовская! – свои непокрытые власы и сосцы голы, и башню на реке Рейне, в которой, сказывают, короля мыши съели, и многое, многое другое. Хотелось ему побывать в замке Шильон, чтобы посмотреть на место заточения Бонивара<sup>11</sup>, о котором со скорбным восхищением так часто рассказывал один швейцарский рейтар из Кукуя. Эта история почему-то особенно волновала Курбатова, с удивлением узнавшего, что и у немецких еретиков есть свои почитаемые мученики. Рейтар в своем рассказе упомянул о впадине, вытоптанной ногами несчастного узника, принужденного годами ходить на цепи по одному месту. Эта впадина так

---

<sup>10</sup> Кукуй, или Немецкая слобода, – место поселения иноземцев в Москве, на правом берегу р. Яузы (ныне район Бауманских улиц).

<sup>11</sup> Бонивар Франсуа (1493 – 1570) – женеvский гуманист, участник борьбы горожан Женевы против герцога Савойского. В 1530 – 1536 гг. был заключен в подземелье Шильонского замка – этот эпизод его жизни воспет Байроном и Жуковским («Шильонский узник»).

и врезалась в память Курбатову – долго, долго стояла она у него перед глазами. Одно время он даже задумал писать вирши: «Злое заточение, или Плач Бонивара, на семь лет в замок Шильон заключенного». Начинались они так:

Зри, человече: в узы заключенный,  
Влачу в темнице удел свой бранный,  
Стар не по годам, ибо мои власы  
Из черных стали седы в малые часы.  
Тленна юна красота, недолго блистает,  
В единый час темница ону истребляет.  
Смирись же, человече, и во красном небе  
Красота предвечная даруется тебе.

Дальше дело не сладилось, и «Плач» остался неоконченным; Курбатов думал завершить его, возвратясь в Москву.

Несмотря на свои скудные средства, он постарался обеспечить свое путешествие всеми возможными удобствами. Собрав вещи и прикупив к ним кое-что необходимое, он уложил все это в сундуки и ящики и отвез на посольское подворье.

В последний перед отъездом день он, бесцельно бродя по городу, забрел в книжную лавку, находившуюся рядом с типографией. Книг на полках почти не было: хозяин, опасаясь пожара, перенес их в каменное здание типографии, где хранилась московская библиотека. Курбатов рассеянно поводил рукой по корешкам оставшихся книг – это были все больше житейники да патерики; вдруг его взгляд упал на великолепную тетрадь в золоченом пергаментном переплете, обшитую зеленым бархатом. Он взял ее, полистал гладкие листы, радующие глаз свежей белизной плотной бумаги, и почувствовал, что уже не в силах выпустить ее из рук. Ему сразу представилось, как он будет заносить в нее дорожные впечатления и новые, необыкновенные мысли, которые – он в этом не сомневался – непременно появятся у него, как только он приобретет эту тетрадь... А потом, возвратясь из путешествия, он сможет на основе этих заметок написать книгу об увиденном в Немецчине и поднести ее Симеону Полоцкому или князю Василью Васильевичу Голицыну, мужам зело прилежным чтению и писанию. А там, глядишь, пожалуют в дьяки...

Он спросил цену и, услышав ответ, изумленно ахнул. Но уйти без тетради уже представлялось ему невозможным. Курбатов попробовал торговаться, два раза картинно уходил из лавки и вновь возвращался – хозяин все стоял на своем. Наконец подъячий, сердито хмурясь, отсчитал деньги. Получив тетрадь, он отправился на посольское подворье и бережно спрятал ее в сундук с наиболее ценными вещами.

До отъезда он еще навестил знакомых и товарищей, простился, выпил с каждым по чарке-другой вина, сделал распоряжения об имуществе, которое оставлял в Москве. Новую избу решил поставить по возвращении.

Седьмого июня посольство – князь Петр Иванович Потемкин, дьяк Семен Румянцев, семеро дворян, трое секретарей и священник – двинулось в путь. Повозки с прислугой были высланы вперед, к Язуе, – там намеревались устроить табор для ночлега. Посольство верхами выехало через Неглинные ворота, крытые листовой позолоченной медью, жарко сиявшей на солнце; из особой пристройки над воротами, через окна с густою решеткою, царь с царицей и несколько бояр наблюдали за выездом.

Царские приставы и некоторые духовные чины проводили князя Потемкина версты две за городом и, простившись с ним, вернулись обратно.

Потянулись подмосковные поля, леса... Первое время Курбатов беспрестанно оглядывался на три кольца московских стен, на неистовое сверкание куполов и крыш соборов, церк-

вей, башен, ворот, на деревянную громаду Земляной слободы, все теснее опоясывавшую город по мере того, как тот удалялся, терял очертания и цвета, собираясь в одну беспорядочную, сизо-бурую грудую постройку. При мысли о том, что он покидает Москву на год, а может, и более, его сердце как-то тоскливо сжималось, и он чувствовал, что уже был бы рад отсрочить отъезд – на день или, лучше, на неделю...

Чтобы отогнать эти мысли, он дал зарок не оборачиваться и какое-то время ехал, превеличенно внимательно смотря по сторонам. У села Пушкинского не выдержал – снова оглянулся. Над Москвой поднимался густой черный дым: разгорался новый пожар...

## II

Чем дальше на север – тем призрачней синели узорчатые верхушки необозримых лесов, прозрачнее становились ночи... Ровный тихий свет до утра не сходил с небосклона, незаметно становясь с зарею бледно-золотым, потом тускло-медным. Заснуть в этом жидком полусумраке, в котором столбом вился остервенелый гнус, было невозможно. Лица у людей распухли от укусов, лошади, заедаемые смертным поедом, отчаянно ржали ночи напролет.

За Вологдой зарядили дожди. Во влажной, спертой лесной духоте было нечем дышать, тела людей и животных покрывались испариной, кафтаны тяжелели от сырости.

Ближе к Архангельску начались сосновые боры, стало легче: вода быстро уходила в песчаную почву, и через час после дождя лес снова был сухой.

Наконец выбрались на простор, и в одно росистое, ясное утро Курбатов увидел нечто невообразимое: из-за диких лесистых холмов впереди круто поднималась, упираясь в небосклон, темная громадная пустыня» влажно-мглистая, сумрачная, одинокая в своей безмерности. У него от радости и ужаса перехватило дыхание, и он остановил коня, чтобы насытить глаза этой тяжелой синевой. Ему казалось невероятным, что там, за линией окоема, может быть еще что-то – какие-то земли, города – и что он скоро поплывет по этой необъятной глади, по этой ужасающей бездне на утлом, крошечном суденышке... Сама мысль о подобном путешествии показалась ему безумной, он внутренне содрогнулся, представив жуткий мрак этих холодных глубин.

– Ну, чего раззявился! – окликнул его кто-то сзади. – Пошел, пошел!

## III

В Архангельске все было деревянным: и высокие, теснящиеся друг к другу дома с крутыми крышами, небольшими окнами и полукруглыми воротами в нижних ярусах, и причал, где, несмотря на ранний час, уже не то разгружалось, не то загружалось несколько кораблей, и храмы с высокими шатровыми крышами, и торговые склады, и городская стена, которую опоясывали глубокий ров и поросший травой крепостной вал с вкопанными в него чугунными пушками... По раскисшим от дождей улицам медленно тянулись телеги, подводы; редкие прохожие – это были главным образом возвращавшиеся с ранней обедни посадские и равнодушные стрельцы, по двое, по трое бредущие по казенной надобности, – старались кое-как уклониться от комьев грязи и навоза, разлетавшихся из-под копыт несущихся куда-то во весь опор лошадей, которых их седоки с гиканьем то и дело подзадоривали плетьюми...

Разместились на дворе у воеводы. Немедленно послали за капитаном голландского корабля для переговоров о перевозке посольства в Амстердам. Потемкин торговался расчетливо, цепко, не забывая подливать голландцу пахучего золотисто-зеленого рейнского из своих запасов. Капитан хмелел, и Курбатову становилось все труднее разбирать слова, произносимые заплетающимся языком, – все что-то о пеньке, лесе, убытках, которые он понесет, взяв на

борт столько людей... Потемкин терпеливо слушал и вновь наполнял кубки... Наконец капитан смирился с убытками, и его, мертвецки пьяного, передали на руки матросам.

Вблизи корабль вовсе не казался той утлой скорлупкой, какой он представлялся Курбатову издалека. Напротив, теперь он поражал своей громадностью, тяжеловесностью, надежностью. Широкий нос, крутые борта и округленная корма высоко вздымались над водою, и уже совсем куда-то в поднебесье, в самые облака возносились стройные, круглые мачты с оранжево-бело-синими флагами<sup>12</sup>.

На палубе было чисто, блестела начищенная медь, пахло морем, дегтем и свежесрубленным лесом (команда недавно кое-где заменила подгнившую обшивку). Капитан в камзоле табачного цвета стоял у трапа, указывая, куда разместить пассажиров.

Матросы по свистку полезли на реи ставить паруса. Огромные полотнища несколько раз оглушительно хлопнули и вдруг округлились, наполнившись ветром. Чуть навалившись на левый борт, корабль заскользил по солнечной жемчужно-серой глади. Волны ударили в дубового позолоченного льва на носу, под бушпритом, и взлетели радужной пылью.

Курбатов стоял на палубе и долго глядел на удалявшийся, постепенно мутневший берег.

#### IV

Бесконечное побережье Финляндии и Норвегии показалось ему нестерпимо скучным. Всюду было одно и то же: заливы и бухты, голые или лесистые скалы, иногда – не более десятка невзрачных, изъеденных ветрами домиков, построенных на берегу, в уровень с морем, рыбацьи суда, сети, сохнувшие на колышках...

Раз в неделю корабль заходил в какую-нибудь бухту, чтобы пополнить запасы питьевой воды (о том, чтобы сделать разнообразнее матросский стол, не приходилось и думать: местные жители могли предложить только рыбу и овощи, выращенные на клочках возделанной земли). Грузные, неповоротливые рыбаки в кожаных шляпах, с бритыми губами и растущими на зобу бородами с любопытством подходили к голландцам, русским, но ни о чем не спрашивали, только молча тарасились бесцветными рыбьими глазами... Курбатов сам или с помощью кого-нибудь из матросов пытался расспрашивать их. Из этих полумимических бесед он вынес убеждение, что люди тут рождались, жили и умирали, нисколько не подозревая о существовании других, более обширных стран, да, кажется, ничего и не хотели знать о них. Впрочем, их деловитость и степенность нравились ему, только было смешно, когда они называли скопление своих рыбацких хижин городом.

Дни Курбатов проводил на палубе, в бесцельном созерцании уже начинавшей надоедать морской пустыни, вечерами лежал в тесной каюте, при тусклом свете коптящей лампы. Листы купленной тетради оставались по прежнему чистыми – новые, необыкновенные мысли все как-то не приходили в голову, а увиденное казалось незначительным и не представляющим никакого интереса. Ему хотелось начать записки с описания чего-нибудь выдающегося, необычного, и он терпеливо ждал, когда корабль прибудет в Амстердам.

Недели через три скандинавский берег исчез из виду, теперь вокруг расстилалась одна бескрайняя морская равнина, на которой вдали все чаще белели паруса встречных кораблей. Капитан объявил, что до Амстердама осталось не больше трех суток пути.

#### V

---

<sup>12</sup> Цвета голландского флага были составлены из любимых цветов принца Вильгельма I Оранского, предводителя освободительного движения Нидерландов против испанского владычества. «Молчаливый принц» (так прозвали его за неразговорчивость) носил оранжевый плащ, белую шляпу и синий колет.

Земля показалась на третий день после полудня.

Корабль проплыл между двух островов и вошел в залив, имея берег по правому борту. Курбатов вместе с другими русскими поднялся на корму, чтобы полюбоваться дивным зрелищем.

Зеленая равнина была покрыта прямоугольниками огородов, пастбищ, цветников, расчерчена сетью канав и каналов. Изобилие цветов поразило русских, хотя клумбы и оранжевые в московских дворах и боярских усадьбах давно были не в диковину. Остатки гиацинтов, левкоев, нарциссов уже отцвели на оголенных черных грядках, но тюльпаны бархатным ковром устлали землю – черно-лиловые, красно-рдяные, пестрые, золотистые... Повсюду виднелись мызы, хуторки, домики с острыми черепичными крышами, на которых гнездились аисты, кусты приземистых ив вдоль канав. В голубовато-фиолетовой дымке таяли очертания городских стен, башен, соборов и бесчисленных мельниц с лениво вращающимися крыльями. Иногда из-за крыши какой-нибудь мызы появлялся белый парус и тихо скользил по каналу, а казалось – между тюльпанами.

Ближе к вечеру свежий ветерок нагнал на волны легкую зыбь. Море становилось все оживленнее – корабли, корабли в уже розовеющем просторе. Из-за горизонта клубами вздымались багровые облака и, словно перегорев, подергивались по краям пеплом. Равнина вспыхивала огоньками, некоторые из них скользили вдоль каналов.

Амстердам порастил Курбатова великой каменной теснотой и многолюдством, в котором никто не обращал на другого ни малейшего внимания. Казалось, здесь никому нет дела до приезда московского посольства. Только одни мальчишки проводили процессию до дворца штатгальтера<sup>13</sup>.

Послам отвели лучшую гостиницу в городе. Здесь вечером следующего дня Курбатов сделал первую запись в своей тетради:

«Город Амстердам стоит при море в низких местах, во все улицы пропущены каналы, так велики, что можно корабль вводить; по сторонам каналов улицы не довольно широки – едва в две кареты в иных местах можно ехать. По обе стороны великие деревья при канале и между ними – фонари. По всем улицам фонари, и на всякую ночь повинен каждый против своего дома ту лампаду зажечь. На помянутых улицах – plezier, или гулянье великое.

Торговых людей и мастеровых ко всякому мастерству много без меры. Купечество здесь живет такое богатое, которое в Европе больше всех считается, так споделяются, как – нигде. Рыбы свежей безмерно много, а в рыбном ряду все торгует женский пол. Биржа сделана из камня белого и внутри вся нарезана алебастром – зело пречудно. Пол сделан, как на шахматной доске, и каждый купец стоит на своем квадрате. И так на всякий день здесь бывает много народу, что на всей той площади ходят с великою теснотою. И бывает там крик великий. Некоторые люди – которые из жидов, бедные – ходят между купцами и дают нюхать табак, кому сгоряча надобно, – и тем кормятся...»

Потом появились другие записи:

«Видел младенца женска пола, полутора года, мохната всего сплошь и толста гораздо, – привезена была на ярмарку. Видел тут же голову сделанную деревянную человеческую – говорит! Заводят, как часы, а что будешь говорить, то и она голова говорит. Видел две лошади деревянные на колесе – садятся на них и скоро ездят куда угодно по улицам. Видел стекло, через которое можно растопить серебро и свинец, им же жгли дерево под водой, воды было пальца на четыре, – вода закипела и дерево сожгли.

---

<sup>13</sup> Штатгальтер – голландский главнокомандующий сухопутной армией, традиционно выбирался из членов дома Оранских. Штатгальтер Вильгельм III Оранский в 1674 г. фактически упразднил республику и захватил власть в стране, став верховным правителем Голландских Соединенных Штатов. В 1689 г. английский парламент передал ему права на британскую корону.

Видел у доктора анатомию: вся внутренность разнята разнo – сердце человеческое, легкое, почки и как в почках родится камень. Жила, на которой легкое живет, подобна как тряпица старая. Жилы, которые в мозгу живут, – как нитки. Зело предивно...»

Десять дней жили послы в Амстердаме – отдыхали, осматривались. Принц Вильгельм сам возил их по городу, показывал достопримечательности. Вдоль улиц, по которым проезжали послы, выстраивались солдаты, салютовали при их приближении залпами из мушкетов. Потемкин воспринимал почести как должное и даже требовал, чтобы штатгальтер ехал позади него, иначе-де, переводил Курбатов, получается, что солдаты салютуют не послу великого государя, а самому принцу.

Курбатов обследовал город и в одиночку – так ему даже больше нравилось. Вечерами, когда князь отпускал его от себя, он выходил из гостиницы и отправлялся бродить по освещенным фонарями улицам. Постепенно он свыкся с обилием трех- и четырехэтажных каменных строений, научился разбирать дорогу по остроконечным шпицам ратуши и церквей. Утомившись, отыскивал глазами потешную вывеску ближайшей пивной, заходил, пробовал ром, джин, английский эль, иногда вступал в беседу с соседями по столику, вкусно посасывавшими длинные трубки... После таких одиноких прогулок тетрадь пополнялась многочисленными записями.

## VI

На третий день Курбатов познакомился с Эльзой Хооте.

В тот вечер он вышел из портовой пивной и не спеша зашагал вдоль какого-то узкого канала. Хмель, чистый блеск звезд и вольный ветер над огромным, смутно темнеющим заливом заставляли его острее и слаще чувствовать свое одиночество. Дойдя до каменного мостика, дугой перекинутого через канал, он увидел на той стороне, у садовой калитки, молодую статную женщину – она курила трубку и с каждой затяжкой вспыхивавший огонек отбрасывал на ее круглое лицо красноватый отблеск. Курбатова с первого взгляда потрясла меловая белизна ее открытых шеи и плеч, освещенных луной. Он невольно остановился и слегка поклонился ей.

Женщина ответила долгим спокойным взглядом, в котором, однако ж, Курбатову почувствовалась ласковая усмешка. Он смутился, не зная, как быть дальше – уйти или остаться, – сделал шаг и встал, уже внутренне дрожа.

– Два гульдена, – ровным грудным голосом произнесла она.

Он сразу перешел мостик и приблизился к ней. Она без всякого интереса осмотрела его, пыхнула трубкой и, плавно повернувшись, вошла в калитку. Он последовал за ней.

Пройдя цветник, они оказались у двери небольшого кирпичного двухэтажного дома с деревянным чердаком. Внутри, в полутемной комнате с узорным каменным полом, стоял стол, массивный буфет, слева в стене за решеткой зиял камин. Женщина засветила лампу, поставила на стол бутылку вина, ветчину, хлеб, фрукты. Сама она почти ничего не ела, только мелкими глотками отпивала из стакана и слушала Курбатова, выпуская изо рта и ноздрей длинные струйки сизого дыма. Потом, с недокуренной трубкой, пересела к нему на колени, обняла за шею, склонилась на плечо... Он начал целовать ее прохладные белые плечи, но она зажала ему губы рукой: «Посидим просто так, хорошо?»

Утром Курбатов попросил разрешения прийти снова и стал ходить к ней каждый вечер. Она все так же встречала его у калитки, вела в дом, кормила, некоторое время сидела рядом, прикинув к нему, затем шла наверх стелить постель... Эльза Хооте была очень немногословна. Курбатов узнал только, что она вдова торговца шерстью, семь лет назад поплатившись жизнью за дружбу с великим пенсионарием Яном де Виттом<sup>14</sup>. Имущество ее мужа было

---

<sup>14</sup> В 1672 г. великий пенсионарий (глава республики) Ян де Витт и его брат Корнелиус были убиты сторонниками принца

конфисковано, его друзья, спасаясь от преследований штатгальтера, уехали во Францию. С тех пор она должна была сама заботиться о куске хлеба.

Курбатову, впрочем, нравилась ее неразговорчивость – так было даже легче: лежать рядом, чувствуя женское тепло, и думать о чем-нибудь, что не имело отношения ни к ней, ни к Голландии, порой – ни к нему самому. Эльза набивала свою трубку, курила, полузакрыв глаза, но никогда не засыпала первой.

Здесь, в спальне Эльзы, Курбатов впервые как следует принялся к табачному дыму: душноват, конечно, но ничего, духовитый. Дома, в Москве, ему не раз предлагали – и немецкие знакомые, и свои, посольские, – из тех, кто был тайно привержен табачному зелью, – покурить, пожевать, попить носом с бумажки, да он все отказывался, памятуя государев указ покойного царя Алексея Михайловича: табачников метать в тюрьму, бить по торгам кнутом нещадно, рвать им ноздри, клеймить лбы стемпелями, а дворы их, и лавки, и животы их, и товары все имать на государя. Теперь, при взгляде на Эльзу, в сладком полубабытье посасывавшую мундштук, прежние страхи забывались и тянуло отведать: что это, в самом деле, за дымная прелесть такая?

Раз он не выдержал, попросил ее набить для него трубку. Она не удивилась, молча умяла в чубук несколько щепотей табаку, раскурила и протянула ему. Он с удовольствием потянул носом душистый дымок, тонкой струйкой бегущий вверх, осторожно затянулся – и зашелся громким, безудержным кашлем.

– Дас ист штаркер табак!<sup>15</sup> – одобрительно кивнула Эльза.

Она подвинулась к нему, взяла у него трубку и, подождав, когда он кончит сотрясаться, снова поднесла ее к его губам. Он с отвращением отпихнул ее руку.

– Не бойся, кашля больше не будет, – сказала она. – Держи трубку во рту и посасывай, как я.

Эльза откинулась на подушку и взяла в рот чубук.

Превозмогая себя, Курбатов последовал ее примеру. Через короткое время он с тревожным наслаждением почувствовал, как его тело стало легче, руки и ноги сделались словно не его, мысли исчезли... Сладкое наваждение!

В тот вечер они больше не разговаривали.

Между тем приближался день отъезда посольства в Испанию. Штатгальтер помог договориться с капитаном английского судна, отплывающего в Сан-Себастьян. В последний раз придя в домик на узком канале, Курбатов был деланно весел, болтлив, потом как-то сник, сделался задумчив... Эльза подарила ему трубку и кожаный кисет, туго набитый табаком.

Уже стоя в дверях, он сказал:

– Я приду к тебе, когда снова буду здесь на обратном пути.

– Приходи.

– Ты не уедешь отсюда?

– Вообще-то я хочу купить гостиницу где-нибудь рядом с Амстердамом – например, в Саардаме. Но вряд ли это случится скоро, я еще не накопила достаточно денег.

– Тогда до встречи?

– До встречи.

## VII

Два дня Курбатову было очень тоскливо.

---

Вильгельма.

<sup>15</sup> Крепкий табак! (от нем. Das ist starker Tabak!)

С великой мукой кое-как прошатавшись по палубе до вечера, он ночью тайком вновь поднимался наверх из каюты, находил укромное местечко и доставал подаренную трубку. Курить не хотелось – хотелось просто подержать ее в руках, погладить изгибы, вдохнуть сладковатый запах нагара. Порой все-таки не выдерживал: торопливо, по-воровски, закуривал, вспоминал домик, спальню... Все же был начеку – заслышав голоса или скрип палубных досок, быстро прятал трубку за пазуху, придавив пальцем тлеющий табак.

Ла-Манш несколько рассеял его тоску. Потянулись острова и островки, уютные прибрежные городишки, совсем не скучные в своем однообразии: готическая церковь, старые улицы, тесные, узкие, причудливо-кривые, пересекаемые восходящими и нисходящими лестницами, дома набегают друг на друга; внизу – маленький порт, где теснятся суда, реи шхун угрожают окнам домов на набережной... Сам залив – не то море, не то река, или скорее – морская улица: всюду рыболовные барки, шлюпки, двух— и трехмачтовые корабли...

В первых числах августа показался воздушно-сиреневый берег Испании.

В Сан-Себастьяне пересели на лошадей и мулов и двинулись дальше, отослав в Мадрид гонца с вестью о прибытии государева посольства. По обе стороны древней каменистой дороги громоздились одна на другую ужасные в своей пустынности горы; некоторые из них были совсем лысые, как спина старого осла, другие – покрыты низкорослыми каштанами, дубами, кленами, буками. В мертвой тишине ночей, казавшихся особенно мрачными от обилия звезд, слышался один глухой ровный шум горного потока.

Города тоже были древними и пустынными: тенистая улица вела между каменными остовами домов, часто зиявшими черными пустотами на месте окон; за домами виднелась пыльная зелень одичавших садов; потом появлялась залитая солнцем площадь, длинный водоем под навесом, церковь с голубой статуей Богородицы над порталом, обитаемые дома, никуда не спешащие люди, а впереди, уже на выезде, постоялый двор с неизменными связками трески, сохнувшей на пыльной доске... В Бургосе Курбатов с любопытством осмотрел готический собор: на его стенах нельзя было найти места в ладонь, где бы ни прошелся резец мастера.

За Бургосом потянулись сухие серые равнины, выжженные солнцем. На улицах бедных селений, у ворот жалких лачуг с соломенными крышами валялись в пыли черные свиньи, круглые и гладкие, как шары...

В эти дни Курбатов записал в тетради: «Испания – страна бедная, вроде нашего Костромского уезда».

В окрестностях Мадрида посольство разместилось на постоялом дворе, довольно приличном на вид. Однако на ужин подали только яичницу, от которой пришлось отказаться – шел Успенский пост. С великим трудом хозяин к ночи раздобыл форель и накормил тех, кто еще не лег спать, чтобы заглушить голод.

Утром, когда хозяин принес Потемкину счет, князь побагровел и велел Курбатову ответить, что не заплатит и половины требуемой суммы. Начались пререкания; хозяин совсем не понимал курбатовскую латынь, пришлось послать за местным приходским священником. В это время в комнату явился посольский иерей отец Богдан с жалобой, что ночью у него украли несколько дорогих окладов с образов, наградной крест и даже срезали серебряные пуговицы с епитрахили. Услышав о таком бесчестии, Потемкин наотрез отказался платить, пока хозяин не отыщет воров. Тот ушел, клянясь, что взыщет с проклятых москвитов все, до последнего песа.

И действительно, когда князь со свитой вышел из комнаты, собираясь спуститься вниз, он обнаружил в дверях гостиницы с десяток человек прислуги, вооруженной мушкетами, вилами и дрекольем. Хозяин, стоявший впереди всех с кочергой в руке и пистолетом за поясом, всем своим видом показывал, что не отступится от своих слов.

Пятеро дворян, выхватив из ножен сабли, сгрудились вокруг Потемкина, двое кинулись в свои комнаты за пистолетами. Князь грозил, что нынче же потребует у короля Карла вздернуть хозяина со всеми его холопьями, как воров и разбойников, но приходской священник

уже исчез, а хозяин, не слушая Курбатова, только потрясал в ответ листком, на котором был записан грабительский счет.

Вскоре положение еще более осложнилось. Человек тридцать княжеских дворовых, запрягавших лошадей и укладывавших вещи на заднем дворе, собрались на шум и обложили испанцев с тыла. Хозяин с прислугой были вынуждены закрыть и забаррикадировать дверь. В то же время за воротами гостиницы стала скапливаться толпа, все более заинтересованно наблюдавшая за происходящим. Для начала побоища не хватало только сигнала: выстрела или чьего-нибудь истеричного крика.

В этот напряженный момент толпа за воротами раздалась надвое, и на гостиничный двор въехал всадник в расшитом золотом камзоле, сопровождаемый несколькими сеньорами, в столь же роскошном облачении, и отрядом солдат. Спешившись у двери, испанец застучал в нее кулаком, сопровождая удары властными выкриками. Услышав его голос, хозяин сразу присмирел и приказал слугам разбаррикадировать дверь.

Приезд маркиза де Лос Балбазеса, посланного королем для встречи московитского посольства, быстро уладил споры. В ответ на жалобы Потемкина о бесчинствах и великом поругании, творимых над послами великого государя рядом со столицей его королевского величества, маркиз объявил, что начиная с этой минуты его католическое величество король Карлос II принимает все расходы и содержание князя и его людей на счет королевской казны; хозяин гостиницы получит от короля требуемую им с московитов сумму, но в свою очередь должен будет возместить стоимость украденной у священника церковной утвари, в противном случае имущество его будет конфисковано, сам он будет заключен в тюрьму, а выплату вместо него произведет королевская казна.

Этим маркиз сразу приобрел величайшее благоволение со стороны Потемкина, который распорядился одарить его несколькими связками соболей.

## VIII

Прием у Карлоса II произвел на Курбатова тягостное впечатление. Сумрачные гранды в черных камзолах, вышитых черным стеклярусом, стоявшие у подножия трона и поблескивавшие круглыми стеклышками обязательных очков, их жены в черных платьях и мантильях напоминали духовенство в похоронном облачении. Сам король, неподвижный, безжизненный, с мертвенным взглядом сонных глаз из-под полуприкрытых век казался совсем мертвецом рядом с молодой королевой (Марией-Луизой, французской принцессой) и чем-то походил на государя Федора Алексеевича: тот тоже был бледен, слаб, ходил, опираясь на палку, и не мог без посторонней помощи даже снять с головы царский венец.

После аудиенции послам показали дворец. Курбатов поразили обилию голых эллинских дьяволов и дьяволиц, зачастую соседствовавших с распятием на стене. В пышных формах некоторых женских истуканов он узнавал стати московских девок, сотни раз виденные в банях; только те не прикрывали свой срам с такой развратной томностью.

В одной из зал его внимание привлекло большое темное полотно в тяжелой золоченой раме, висевшее на стене. Он подошел ближе и всмотрелся. Посередине холста восседал страшный старик с львиным лицом и развевающейся бородой – казалось, он изрыгает проклятия. Святой Дух со зрачками коршуна низвергался на него, точно хотел выклевать глаза. Направо от старика иступленный монах заносил, как стилет, свое перо, готовясь писать. Черный овал капюшона мрачно обрамлял его бледное лицо, жестокое неистовство кривило его рот и узило глубоко запавшие глаза. Налево, позади епископа, замершего в высокомерной позе, подымались головы монахов, их глаза угрожающе пламенели, словно угли костра. Херувимы, витавшие в небе, корчили гримасы капризных детей.

Курбатов с трудом отвел взгляд от чудовищной картины. Он не мог отделаться от мысли, что видит бесов, надевших священные облачения, чтобы кощунственно глумиться над обрядами Церкви. Заметив под рамой медную табличку с выбитой на ней латинской надписью, он нагнулся и прочитал: «Святой Василий, диктующий свое учение». С возросшим недоумением он еще раз взглянул на полотно: так вот как здесь пишут его святого! И Курбатов, вспомнив светлые, благостные лики московских икон, поспешно зашагал вслед удалявшемуся посольству.

## IX

В Мадриде пробыли два месяца, обменялись грамотами о дружбе и торговле и в начале октября тронулись дальше – в Париж.

Ехали по уже знакомой дороге. Ближе к Пиренеям по предложению проводника свернули в горы, чтобы переночевать в Лойоле – на родине основателя иезуитского ордена. Деревня находилась неподалеку от довольно широкого ручья, в очень тесной долине, которую опоясывавшие ее горы летом превращали в пекло, а зимой – в ледник. Четверо чрезвычайно вежливых иезуитов радушно встретили гостей.

Они охотно показали жилище «святого Игнатия» – двухэтажный дом с чердаком, похожий в лучшем случае на скромную обитель священника. Главными достопримечательностями в нем была комната, где раненному на войне Игнатию было ниспослано свыше знаменитое откровение об ордене, а также конюшня, куда из смирения и почитания вифлеемских ясель удалась его мать, чтобы произвести его на свет, – это низкое, придавленное помещение теперь сияло золотом убранства. И в комнате, и в конюшне было устроено по великолепному алтарю, на которых покоились Святые Дары.

В доме иезуитов могло поместиться с десятков человек, остальных развели по крестьянским домам. Курбатов остался при князе вместе с дворянами и отцом Богданом.

Стол у иезуитов был превосходный, в конце обеда подали уже знакомое русским лакомство – чашки с дымящимся жирно-фиолетовым шоколадом.

Осторожно отпивая обжигающий губы напиток, иезуиты поинтересовались: отчего в Московии оказывают предпочтение протестантам перед католиками – при приеме на военную службу и в торговых делах?

– Скажи им, – обратился Потемкин к Курбатову, – что негоже нам, православным, одних еретиков перед другими выгораживать. Люторы не лучше латинян-папистов: Христова смирения не имеют, но сатанинскую гордость, и вместо поста многоядение и пьянство любят, крестного же знамения истинного на лице изобразить не хотят и сложению перст блядословно противятся. Также поклониться Господу на коленях не хотят и ложь сшивают самосмышлением, разум Божественного Писания лукаво скрывают и своевольно блядут, прельщая безумных человек. А что с ними больше дело имеем, так это оттого, что они нам самозванцев на престол не сажали и в наши святые церкви на лошадях не въезжали.

Курбатов дипломатично перевел все, что поддавалось переводу.

– Все то творили миряне, поляки, – возразил старший из иезуитов. – А между нашими церквями нет вражды, существуют только внешние, обрядовые различия. Церковное учение у нас по сути одно. Вот, возьмем, например, вопрос, чем оправдывается человек: одною верою или верою и делами удовлетворения? Ведь вы, конечно, гнушаетесь суемудрия лютеран, уверяющих, что дела не нужны и что можно спастись одною верою?

– Гнушаемся, – кивнул Потемкин.

– Значит, при вере нужны еще и дела?

– Нужны.

– Итак, если без дел спастись нельзя, то дела имеют оправдательную силу.

– Имеют.

– А кто покаялся и получил отпущение за свою веру, но умер, не успев совершить дел удовлетворения, как быть тому? На таких у нас есть чистилище, а у вас?

Потемкин задумался, теребя бороду, и, помолчав, сказал:

– А ну, отец Богдан, отвечай еретику.

– У нас, – произнес священник, помявшись, – у нас, пожалуй, есть в этом роде: мытарства.

– Хорошо, – продолжал иезуит, улыбаясь, – значит, помещение есть, разница только в названии. Но одного помещения мало. Так как в чистилище дел удовлетворения уже не творят, а между тем попавшим туда нужны именно такие дела, то мы ссужаем их из церковного казнохранилища добрых дел и подвигов, оставленных нам как бы про запас святыми. А вы?

Отец Богдан, чувствуя близость какого-то подвоха, пробормотал:

– У нас есть на это заслуги сверх требуемых.

– Так с чего же, – радостно подхватил иезуит, – отвергаете вы индульгенции и их распродажу? Ведь это только акт передачи. Мы пускаем свой капитал в оборот, а вы держите его под спудом. Хорошо ли это?

Отец Богдан хмуро молчал. Потемкин с неудовольствием потер кулаком нос.

– Да, отче, сел ты в лужу.

– Индульгенции – папская ересь, – отозвался тот. – Переводи, Курбатов: вся ложь и непотребство в латинстве – от папства.

Курбатов убежденно перевел слова священника.

– Как? – притворно изумился иезуит. – Неужели вы, заодно с проклятыми лютеранами, думаете, что одинокая личность с Библией в руке, но пребывающая вне Церкви, может обрести истину и путь ко спасению?

– Мы веруем, что нет спасения вне Церкви, которая одна свята и непогрешима, – отозвался отец Богдан.

– Прекрасно! Но ведь вы знаете, что суемудрие и ложь часто вторгались в Церковь и соблазняли верующих личиною церковности.

– Знаем.

– Так, значит, необходим осязательный, внешний признак, по которому всякий мог бы безошибочно отличить непогрешимую Церковь? У нас он есть – это папа. А у вас?

– У нас Вселенский собор.

– Да и мы тоже перед ним преклоняемся!.. Но объясните мне, чем отличается собор Вселенский от невселенского или поместного? Почему вы не признаете, например, Флорентийский собор<sup>16</sup> за Вселенский? Только не говорите мне, что вы называете Вселенским тот собор, в котором вся Церковь опознала свою веру, свой голос, то есть вдохновение Духа, – ведь задача-то и состоит в том, как узнать голос истинной Церкви. Мы в этом случае доверяем святости папы, вы – учености то одного, то другого монаха. Отец Богдан сидел насупившись, Потемкин и дворяне растерянно переглядывались.

– Вот видите, – великодушно закончил иезуит, – и вы, и мы стоим на одном пути. В вас много доброго, но мы у цели, а вы не дошли до нее. И мы, и вы признаем согласно, что нужен внешний признак истины, иначе знамение церковности, но вы его ищете и не находите, а у нас он есть – папа: вот разница. Вы тоже в сущности паписты, только непоследовательные.

– Вон как! – возмутился Потемкин. – Что же ты молчишь, отец Богдан, как в рот воды набрал? Нас здесь уже в латинство перекрестили!..

---

<sup>16</sup> Флорентийский собор – собор Римско-католической церкви (1438 – 1445), созванный папой Евгением IV с целью преодоления разногласий и заключения унии между Римом и Константинополем. На нем была заключена Флорентийская уния (1439) на условиях признания константинопольским патриархом главенства папы и принятия ряда католических догматов с сохранением обрядов и богослужения Восточной церкви. Акты собора не были подписаны ревнителями православия, во главе которых стоял Марк Эфесский. В дальнейшем уния была отвергнута и Византией, и Московским государством.

– Так ведь сам видишь, князь Петр Иванович: они своей еллинской диалектикой хоть из черта святого сделают... Что ж сказать? Умишком я слаб, не учен, но все же от Христа разум имею, и потому знаю, что русское православие – одно истинно. Была, конечно, и в нашей святой Церкви порча, но не от неправильности чинов, а единственно от нерадения. Знаю также, что наши отцы православной верою спаслись, и нам не только в их вере, но ни в малейшей частице канонов, ни у какого слова, ни у какой речи святых отцов ни убавить, ни прибавить ни единого слова не должно, ибо православным следует умирать за единую букву «аз». Вот это и скажи им, Курбатов.

## Х

Оставив Лойолу, посольство направилось к реке Би-дассоа, отделявшей Испанию от Франции.

Над Пиренеями нависли плотные, серые облака. Временами накрапывал дождь, и тогда тропинка, петлявшая над бездной, делалась скользкой; приходилось спешиваться и вести лошадей и мулов под уздцы. На одном из перевалов поскользнувшийся мул от злобы едва не укусил Курбатова за ногу – он успел отскочить и при этом сам чуть было не сорвался вниз. Успокоив животное, Курбатов первым делом с облегчением ощупал сквозь привязанный к седлу мешок тетрадь и трубку: в этот миг он остро, как никогда, почувствовал, что это самые дорогие ему вещи.

На берегу Бидассоа возле Сен-Жан-де-Люза французский таможенный чиновник придирчиво осмотрел их поклажу. Потом он долго что-то прикидывал в уме и наконец потребовал тридцать луидоров за провоз дорогих окладов и прочей церковной утвари.

Потемкин возмутился, но спорить на этот раз не стал. Достав туго набитый золотом кошель (в нем было не меньше ста испанских дублонов), он с презрением бросил его под ноги чиновнику.

– Даю эти серебряники тебе, еретику, псу несытому, лающему на святые образа, ибо не познал ни Господа, ни Пречистую Матерь Его.

Тот, не слушая, кинулся подбирать рассыпавшиеся монеты.

За Пиренеями небо расчистилось, воздух потеплел. В конце октября добрались до Бордо и остановились в двух милях от города, отписав о своем прибытии гасконскому губернатору маркизу де Сен-Люку. На другой день маркиз прислал послам семь карет, пять телег, десять верховых лошадей и письмо, в котором оповещал, что его христианнейшее величество король Людовик XIV принимает на королевский счет все расходы князя, как это делают и московские государи с французскими послами. Потемкин сел в карету с правой стороны, дьяк Семен Румянцев, не желавший в чем-либо уступать, устроился слева. Курбатов и французский офицер сели напротив.

В Бордо городские старшины поднесли князю подарки – вина, фрукты, варенья, – потом говорили речи. Когда кто-нибудь из них произносил «царь Московский», Потемкин сразу прерывал оратора, требуя сказать «царское величество», и Курбатов переводил по-латыни: «Caesarea Majestas».

Сен-Люк в ратушу не пришел, так как Потемкин ранее уже сказал его офицеру, от лица маркиза спросившему, отдаст ли князь ему визит, – что государеву послу неприлично видеться с кем-нибудь из вельмож прежде короля. Чтобы смягчить ответ, Сен-Люку были посланы меха, которые тот, однако, не принял.

Курбатов с любопытством приглядывался к французским порядкам. «Никто из вельмож ни малейшей причины, ни способа не имеет даже последнему в том королевстве учинить какого озлобления или нанести обиду. Король, хотя самодержавный государь, кроме общих податей никаких насилований делать не может, особливо ни с кого взять ничего, разве по самой

вине, по истине, рассужденной от парламента<sup>17</sup>. Французы живут весело и ни в чем друг друга не зазирают, и ни от кого ни в чем никакого страха никто не имеет, всякий делает по своей воле кто что хочет, но живут во всяком покое, без обиды и без тягостных податей. Дети их никакой косности, ни ожесточения от своих родителей, ни от учителей не имеют, но в прямой воле и смелости воспитываются и без всякой трудности обучаются наукам...»

Здесь, в Бордо, члены посольства последний раз ели все вместе. Уже при следующей остановке дьяк и дворяне потребовали от французов накрывать для них отдельный стол, поскольку-де они не ниже государева посла, так как тоже назначены его царским величеством.

Кормили послов хорошо. Потемкин был чрезвычайно разборчив в пище и просил в скромные дни не подавать ему зайцев и кроликов, так как они слишком обыкновенны, а также голубей, которых православные не едят; телят – можно, но лишь годовалых. Особенно любил молодых гусей, уток, поросят. Поили тоже на славу. «Вино хорошее: церковное свежее, белое французское, мальвазия, аликант, – записал Курбатов в тетрадь, но с грустью добавил: – Только водок нет никаких, одна яковитка: хуже тройного вина, да и пить дают всего шуруп или две стклянки...»

## XI

В местечке Ла-Рен под Парижем Потемкина ожидал маршал Бельфон, присланный королем. Для встречи московитского посольства было подготовлено восемь карет (две королевские, две самого маршала и четыре – взятые им у знакомых). Рота королевских мушкетеров составила почетный эскорт.

Курбатов разместился вместе с Потемкиным и Бель-фоном на мягких, обитых штофом подушках одной из королевских карет. Как только закрыли дверцы, и карета тронулась, маршал достал из-за широкого обшлага надушенный платок и поднес его к носу. Курбатов догадался, что причиной тому была любимая чесночно-луковая подлива князя.

Дорогой Потемкин из окна кареты раздавал милостыню нищим, каждый раз приподымая свою медвежью шапку. Он был раздосадован, что не видно встречающей толпы, и жаловался на это маршалу. Курбатов перевел ответ Бельфона: в этом-де никакой обиды и бесчестия послу великого государя нет, при въездах послов других государей то же бывает.

В Париже князю и его свите отвели дом чрезвычайных посланников. Маршал проводил Потемкина от кареты до порога и остановился, словно чего-то ожидая. Князь уже поднимался по лестнице.

– Разве его светлость не проводит меня до кареты? – с удивлением осведомился Бельфон у Курбатова.

– Послу великого государя это невместно, – ответил Курбатов.

Маршал вспыхнул и в гневе уехал.

Вечером, однако, он вернулся, чтобы проводить Потемкина в Сен-Жермен, где его ожидал король. Во дворец предполагалось идти пешком, но Потемкин счел это оскорбительным, и маршалу пришлось послать за двумя каретами.

У подъезда дворца послов встретили обер-церемониймейстер и шестьсот гвардейцев. Еще сто швейцарцев выстроились шпалерами по ступенькам лестницы; с балкона звучали трубы и гремели литавры. Капитан гвардии проводил послов в королевский зал, где напротив дверей, в отдалении, был поставлен трон на четырех ступеньках. Когда ввели послов, Людовик XIV уже сидел на троне со шляпой на голове; справа от него стоял дофин, слева – брат короля, герцог Орлеанский, – оба с непокрытыми головами. Королева, присутствовавшая здесь же инкогнито, затерялась в толпе дам.

---

<sup>17</sup> Имеется ввиду местный парламент.

Лишь только Потемкин переступил порог зала, Людовик встал, снял шляпу, затем тотчас надел ее и сел. Потемкин вручил королю свои верительные грамоты, царские подарки и произнес речь, которую Курбатов после зачитал с листа по-латыни. (Речи московских послов писались заранее в посольском приказе, прибавлять что-либо от себя послам строжайше воспрещалось.) Людовик, слушая, снимал шляпу всякий раз, когда Курбатов произносил титул и имя царя.

По окончании аудиенции все перешли в другой зал, где в честь гостей были даны небольшой концерт и театральное представление.

Музыканты уже сидели на своих местах за нотами. Рядом с ними стоял певец, неприятно поражающий какой-то рыхлой, изнеженной полнотой и набеленным мукой лицом, на котором выделялись только густые черные брови, по-женски томные глаза и жирные, сочно-алые губы. Курбатов решил про себя, что это, видимо, шут, который будет их развлекать. Он совсем утвердился в этом мнении, когда толстяк сделал напряженное лицо и заголосил совсем бабьим визгом, уморительно вытягивая губы и округляя глаза. Курбатов хотел засмеяться, но осекся, заметив, что французы, напротив, придали своим лицам благоговейное выражение. Курбатов недоуменно притих, вслушиваясь в чудной переливчатый визг, и вскоре почувствовал, как внутри у него что-то раскрывается навстречу этим звукам, отвечает им... После концерта он спросил у сидевшего рядом вельможи, отчего толстяк поет таким тонким голосом, и, услышав насмешливый ответ, содрогнулся, в то же время почувствовав, что странное, непривычное удовольствие, испытанное им от пения, ничуть не уменьшилось от этого неприятного открытия.

Из последовавшего затем театрального действия Курбатов ничего не понял, но, возвратясь из дворца, добросовестно записал увиденное:

«Король приказал играть: объявились палаты, и те палаты то есть, то вниз уйдут, – и того шесть перемен. Да в тех же палатах объявилось море, колеблемое волнами, а в море рыбы, а на рыбах люди ездят; а вверху палаты небо, а на облаках сидят люди. И почали облака с людьми вниз опускаться и, подхватя с земли человека под руки, опять вверх же пошли. А те люди, что сидели на рыбах, туда же поднялись вверх, за теми на небо. Да спускался с неба же на облаке сел человек в карете, да против его в другой карете прекрасная девица, а аргамаки под каретами как бы живы, ногами подергивают. А король сказал, что одно солнце, а другое месяц.

А в иной перемене в палате, объявилось поле, полно костей человеческих, и враны прилетели и почали клевать кости; да море же объявилось в палате, а на море корабли небольшие и люди в них плавают.

А в иной перемене появилось человек с пятьдесят в латах, и почали саблями и шпагами рубиться, и из пищалей стрелять, и человека с три как будто и убили. И многие предивные молодцы и девицы выходят из занавеса в золоте и танцуют, и многие диковинки делали...»

Вечер в Сен-Жермене закончился роскошным пиршеством, данным маршалом Бельфом от имени короля. Потемкин поминутно вставал, снимал шапку и пил здоровье его царского величества и французского короля. Маршал каждый раз был вынужден поднимать ответный тост за здоровье его христианнейшего величества и московского царя; под конец он так ослабел, что уже не мог уклоняться от медвежьих объятий и троекратных поцелуев князя, обдававшего его нестерпимой луковой вонью.

Простились они неразлучными друзьями, поддерживаемые под руки слугами. Бельфон напоследок поинтересовался, как понравились его светлости французские дамы. Курбатов, у которого также заплетался язык, все-таки сумел перевести ответ Потемкина, что он женат и ему неприлично засматриваться на девиц столько, чтобы выразить о них мнение.

## XII

А через несколько дней после вечера в Сен-Жермене Курбатов сбежал.

Случилось это так.

Потемкин решил отправить грамоту царю с известием о результатах посольства и о том, что заимует в Париже; Курбатову было поручено переписать бумагу.

Он засиделся за ней до вечера в своей комнате. Устав, подошел к окну, поднял раму и закурил трубку (покуривал он все чаще). С улицы пахло сыростью. Город тонул в темноте, сыпал затяжной осенний дождь. Курбатов несколько раз с наслаждением вдохнул холодный воздух, пыхнул трубкой, задумался...

Впоследствии он не раз сокрушался: как же мог он забыть запереть дверь! Потемкин налетел на него, как буря, лупил палкой, обещал в Москве самолично вырвать его копченые ноздри... Курбатов повалился ему в ноги, винился, умолял, плакал...

Князь постепенно отошел, но ничего не пообещал, только приказал тотчас закончить грамоту и принести ему. Курбатов долго ждал, пока перестанут трястись руки, потом снова сел за переписку, уже ничего не соображая...

Когда он принес бумагу князю, Потемкин, хмурясь, взял ее и принялся читать. Вдруг лицо его побагровело.

– Вор! Ты как титул великого государя пишешь?!

Курбатов похолодел: описка в титуле государя означала – батоги, кандалы, темница. В уме мелькнула впадина в Шильонском замке. Не помня себя, он кинулся к дверям, слетел по лестнице и побежал куда-то в темноту...

Несколько дней он скрывался в предместьях. Его спасло то, что кошелек всегда был при нем, на поясе. Сменив платье и купив лошадь, Курбатов беспрепятственно выехал из Парижа, держа путь на север – к маленькому домику на узком канале.

В Амстердам он приехал вечером, недели через две после побега. Лил дождь, улицы и каналы холодно отливала светом фонарей. Эльза, вышедшая на стук в длинной белой ночной рубашке, узнала его в новом наряде не сразу; узнав, не удивилась, сказала только, что сейчас не одна. Курбатов, усмехнувшись, поднялся наверх, в ее спальню, где, при виде его, на кровати под одеялом испуганно сжался какой-то крючконосый, плешивый старичок. Как оказалось, он ничего не имел против того, чтобы провести эту ночь у себя дома. Эльза, величественно стоя в дверях, спокойно ожидала смены кавалеров.

Так же спокойно выслушала она слова Курбатова о том, что теперь они будут жить вместе. Ночью, сквозь сон, он смутно слышал ее долгие счастливые вздохи.

### ХIII

Вскоре он устроился приказчиком в морскую компанию, торговавшую с Россией. Здесь он прослужил десять лет. Россия постепенно забывалась, теряла реальность, пряталась в снах, напоминая о себе одними бесконечными списками связок мехов, бочек икры, смолы, поташа, сала...

Скопив денег, он исполнил давнюю мечту Эльзы: купил гостиницу в Саардаме. К тому времени он обзавелся потомством – Эльза аккуратно каждые два года производила на свет крепкую малышку. Гостиница содержалась ею в образцовом порядке и приносила небольшой, но постоянный доход. Курбатов с удовлетворением чувствовал, как приближается спокойная, обеспеченная старость. Не переставал жалеть только об одном, – что пришлось оставить тогда, в Париже, заветную тетрадь...

Он сделался книгочеем. Вечерами, поручив Эльзе постояльцев, покидал шумную, окутанную табачным дымом гостиную, поднимался в свой кабинет, брал с полки увесистый том, с удовольствием устраивался у камина, тщательно набивал длинную трубку, раскуривал и привычным движением отстегивал застёжку с переплета... Мирно, незаметно текли часы; потом появлялась Эльза, поила его липовым отваром и вела в теплую, нагретую грелкой постель...

Как-то раз сосед кузнец Кист (недавно вернувшийся из Москвы, где он работал у молодого государя Петра Алексеевича), желая сделать приятное Курбатову, подарил ему на Рождество книгу.

– Пусть она напоминает тебе о покинутой родине, – сказал он, вручая ее. – Я знаю, что значит жить на чужбине.

Книга оказалась романом Энрико Суареса де Мендосы-и-Фигероа «Евсторий и Хлорилена, московитская история». Читая его, Курбатов чувствовал нараставшее в нем возмущение: да где же здесь Россия, так ли в Москве говорят, думают, любят?..

В этот вечер он решил написать о России сам.

С этого момента для него наступила пора ночных бдений, душевной смуты, полупризрачного существования здесь, в Саардаме, рядом с Эльзой и детьми, и настоящего там – среди грез и воспоминаний... Он писал так, словно старался извлечь Россию из небытия, спасти, сохранить ее для себя. Несмотря на это, книга получилась довольно жестокой.

Россия – бедная страна сравнительно с европейскими государствами, размышлял Курбатов, потому что несравненно менее их образованна. Здесь, в Европе, разум у народов хитры, сметливы, много книг о земледелии и других промыслах, есть гавани, процветает морская торговля, земледелие, ремесла. Россия же заперта со всех сторон либо неудобным морем, пустынями, либо дикими народами; в ней мало торговых городов, не производится ценных и необходимых изделий. Ум у народа косен и туп, нет умения ни в торговле, ни в земледелии, ни в домашнем хозяйстве; люди сами ничего не выдумают, если им не покажут, ленивы, непромышленны, сами себе добра не хотят сделать, если их не приневолят к тому силой; книг нет никаких ни о земледелии, ни о других промыслах; купцы не учатся даже арифметике, и иноземцы во всякое время беспощадно их обманывают. В Боярской думе бояре, «брады свои уставя», на вопросы царя ничего не отвечают, ни в чем доброго совета дать не могут, «потому что царь жалует многих в бояре не по разуму их, но по великой породе, и многие из них грамоте не ученые и не студерованные». Подобно им и другие русские люди «породою своею спесивы и непривычны ко всякому делу, понеже в государстве своем научения никакого доброго дела не имеют и не приемлют, кроме спесивства и бесстыдства и ненависти и неправды; для науки и обхождения с людьми в иные государства детей своих не посылают, страшась, что, узнав тамошних государств веры и обычаи и вольность благу, начнут свою веру бросать и приставать к иным и о возвращении к домам своим и к сородичам никакого попечения не будут иметь и мыслить». Истории, старины мы не знаем и никаких политических разговоров вести не можем, за что нас иноземцы презирают. Та же умственная лень сказывается и в некрасивом покрое платья, и в наружном виде, и во всем быту: нечесаные головы и бороды делают русских мерзкими, смешными, какими-то лесовиками. Иноземцы осуждают нас за неопрятность: мы деньги прячем в рот, посуды не моем; мужик подает гостю полную братину и «оба-два пальца в ней окунул». В иноземных газетах пишут: если русские купцы зайдут в лавку, после них целый час нельзя войти в нее от смрада. Жилища наши неудобные: окна низкие, в избах нет отдушин, люди слепнут от дыма. Всюду пьянство, взаимное «людодерство», отсутствие бодрости, благородной гордости, одушевления, чувства личного и народного достоинства. На войне турки и татары хоть и побегут, но не дадут себя даром убивать, обороняются до последнего издыхания, а наши «вояки» ежели побегут, так уж бегут без оглядки – бей их, как мертвых. Великое наше лихо – неумеренность во власти: не умеем мы ни в чем меры держать, средним путем ходить, а все норовим по окраинам да пропастям блуждать. Правление у нас в одной стороне вконец распущено, своевольно, безнарядно, а в другой чересчур твердо, строго и жестоко; во всем свете нет такого безнарядного и распущенного государства, как польское, и такого крутого правления, как в славном государстве русском. Даже у магометан русским есть чему поучиться: трезвости, справедливости, храбрости и стыдливости.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.